



Николай Максимович Ольков родился в 1946 году в селе Афонькино Тюменской области. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в ведущих федеральных и региональных изданиях. Автор многих книг прозы. Лауреат все-российских литературных премий им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. Н.А. Некрасова, премии «Имперская культура» им. Э. Володина, премии Уральского федерального округа, Международной (Южно-Уральской) премии (Челябинск), обладатель ряда других региональных наград. Член Союза писателей России. Живет в селе Бердюжье Тюменской области.

Николай Ольков

МАТЬ СЫРА ЗЕМЛЯ

Повесть

Дед Максим любил рассказывать эту историю, потому что остался самым старым в деревне и, пожалуй, один помнил деда Маркела и его повествование.

— Деревня наша как будто убегала от кого, да она и на самом деле пыталась от большой воды схорониться, спервоначалу обосновалась между двух озеринки, так, ежели сурьезно, то лужицы, не больше того. На этом берегу чихни — с того здоровья пожелають. Но рыбешка в них водилась, опять же, не из благородных, но рыба едовая и во всех видах съедобная. Имя ей будет карась — ни седни, ни вчерась. О рыбе этой и как ее добывают, а пуще того, как поедают наши деревенские, я как-нибудь особо распространюсь, а сейчас про деревню. Сказывал эту быль дедушка покойный, а он сто пять годиков прошаршился по земле, в семьдесят женился на молодухе, да еще двоих ребятишек изладил. Знаю, шепталась, что помогли, мол, добры люди, но когда ребятишки подрастать стали, сумлений не сделалось: наших кровей, что парень, что девка. И взгляд суровый, и речь с хрипотцой, как будто скомандовать чего хотят либо дельное посоветовать. Тогда и разговоры утихли. Да чего об этом, молодуха кажениое утро с улыбочкой на крыльцо выходила, потянется, бывало, аж в поясице хрустнет.

— Ты бы, Апросинья, морду-то с утра не кривила, все хочешь чего-то изобразить непонятного, — проворчит поране вставшая Евдокея, снохой она доводится Апроше, хотя годков-то поболее будет. Двор один, управа у каждого своя. Вот надо же, как жили: отцов дом как корень, сынов рядом, другого сына обочь, дочь замуж выдали — желательно и зятя припрячь, и ему дом. А ограда больша, заплотом обнесена, в каждом углу навес, рядом тепляк для коров с телятишками и легкий двор для лошадей. Так вот, дед Маркел Епифантьевич как-то рассказывал, мы еще сопливые были, а слушали люди справные, солидные, и мы между них. Сказывал, что отец его Епифан Демидович шел в эти края аж от Онежского моря, он грамоте был обучен сурьезно, показывал мужикам холстинку, по которой изображен был тот путь. И за место это земельному начальнику преподнесена была икона древнего северного письма, вся в золотой ризе и камнями изукрашена. Начальник тот за подарок поклонился, икону развернул от рукотерта распитого и приложился трижды с крестным знаменем. Сказал, что примет и сохранит, а как церковь построит общество, то привезет икону и на коленях к иконостасу приставит. Так и сделал потом, не обманул.

Первые дома срубили по внутренним берегам озерков, хоть тот человек упреждал:

— Мужики, не льститесь на видимую удобницу, не жмитесь к воде, потому как бывает в пять годов раз большая вода.

Наши, конечно, с водой знали с малства, вперед плавать умели, чем ходить, а тут пугают. Но человек разъямачил, что большая вода стихийно приходит и все забирает, и живое, и недвижимое. А приходит потому, что в дальних китайских краях с гор истекают ручьи, в казахских горах весной воды вниз падают, тихой рекой приходят вода в долину и так же тихо вытекает к северным морям. Только случается, много снега и льдов плавится под горным солнцем, воды смывают и скот, и посевы, людей смывают, аулы и кишлаки, под заунывный плач осиротевших баб вода скатывается в долину, и нет тут ей никаких преград. Высоченным валом идет, со льдом, звуки издает пугающие. Диковинные и жуткие рассказывал человек истории, что и стога неслись, и бани, и мосты сланские со скотиной, и даже волчица с выводком спасалась на вывороченном плетне.

Через три лета случилось, ночью загрохотало, как майский гром, хотя какой гром, апреля середина. Повыскакивали и при ясной луне узрели наиболее глазастые, что белый вал идет на деревню. Ну, вал — дело знакомое, только в море можно баркас в лоб волне поставить, а тут дома, скотина и ребятишки. Сообразили, запрягли телеги, орду побросали, барахло какое — и в гору. Скот тоже погнажи, лошадей выпустили, те помнее, сами спасенье найдут. Двух улиц лишились, вот тогда и подалась деревня в гору. Получилось, как будто разбежалась, да силов не хватило, так на полдороге и остановилась.

Вот так мы в этих краях образовались, так и род наш попер, слободный да работающий. Акимушкины далеко знамениты были маслом коровьим, живым и топленным, купцы, сказывали, для чужих земель сторговывали пудами. А еще мясом, да пашеничкой, да мукой-крупчаткой, такой, что булки из той муки, бывало, хозяйки из печи вынуть не могут, так поднялись, что не входят в печное устье. А отчего? Оттого, что робыли мы от зари до зари, на солнышко не заглядывали, а только по команде старейшего можно было остановиться. Вот и вам, ребята, предстоят дни и годы трудов и радостей на родной матушке — сырой земле.

Ты, Лавруша, совсем маленький, слушаешь, и сладко тебе от той истории и того завтрашнего радостного дня, который обещает дед Максим, старый и седой с головы до бороды, даже брови кустистые взялись белизной.

Сможешь ли ты вспомнить, Лаврентий, напряги тугой звенящей струной свою память, до мозгового простука, до физической боли напряги, отринь все земное, но вспомни, накормил ты тогда солдат пригоревшей своей кашей? Накормил или нет? Если опять придет убитый ротный — что ты ему скажешь? И нет тебе покоя, тысячу раз проклятый и прославленный простым солдатом повар, от которого зависела половина жизни ребят. Они всегда ругали тебя, что в санчасть бегаешь к девчонкам, а каша в это время от возмущения вся горит. Ругали, конечно, шутейно, у кого на войне язык повернется против повара, а тем паче — рука. Поваров не били. Но ты-то знаешь, что следовало бы иногда выправлять нехорошую линию ихнего поведения, когда, к примеру, в соседнем батальоне повар сахар вполовину стаскал связисткам и масло тоже. Ты ведь тоже получил ко дню рождения товарища Сталина пол-ящика молосного, у вас в деревне не называют сливочным, а молосным, ну, молочным бы надо, да и так ладно. Ты все поделил и раздал, рядом со старшиной тот спирт разливал, так и отпраздновали хорошо, если не считать вечерней атаки налетевших мотоциклистов и троих наших, которым ты тоже копал неглубокие ямки.

А в тот злопамятный день варил ты перловку с зайчатиной, утром снайпер Вася из северных народов принес, бросил у тележного колеса:

— Вот, Лаврик, добавка к паре фрицев, уже на свету выскочили порезвиться, ну, я и не устоял. То ли охотничья заросшая страстишка пробила, то ли мясного захотел. Обладить-то умеешь?

Ты тогда сильно возмутился:

— Да я этого зверя столько туш перевешал, что счету нет! Что мне заяц? Я кабанов драл, лося самолично свеживал, до медведя дело доходило...

— Не дался медведь? — устало спросил снайпер Вася, широколицый, узкоглазый, суровый с виду, добрый, как ребенок, а вот кто научил под шкуру лезть? Конечно, около русского брата нахвтался, приемыш хренов. Пришлось отвечать, иначе при ребятах припозорит:

— Я, Вася, на медведя не ходил, это он на меня вышел, когда мы с семьей сена косили в лесах. Вечерком пошел я в кусты, присел, как положено, тоскую. Тишина такая, что даже комаров нет. Выпротался я во весь рост, а он передо мной стоит и морду приподнял, нюхает. Думаю, и спасло то, что сотворил дух ему неприятный, фыркнул он от брезгливости и подался в лес.

Вася не смеялся, только ощерил свои желтые кривые зубы и чиркнул слюной:

— Медведь умный.

Ты так возмутился, аж соскочил со своей чурочки:

— Умный! А я потом с кукурок не вставал всю ночь.

Вася уже почистил винтовку и котелок подает. Осталось с утра каши на доньшке, остатки сладки заскреб, к огню поставил, ложку масла плеснул из бутылки.

— А куда батарею девал, повар? Разбежался народ?

Ты объяснил, что дан был приказ сниматься с позиции и уходить в направлении поселка, это километров пять. А ты оставлен готовить обед,

потому что после перехода, возможно, батарея сразу вступит в бой, а после боя у солдата две нужды: пожрать и поспать. Вот первую и обязан удовлетворить, так, кажется, сказал капитан, ухвативший на всякий случай банку американской тушенки.

Ты еще вчера заметил под леском кучки земли от сусличных норок, значит, живут большим семейством, место высокое, хлеба года два никто не сеял, но из падалика narosло, сам на ходу ухватил горсть — пшеничка никакая, колосок жалкий, зернышко сморщилось, усохло, но все хлеб, если совсем ничего. Тем и пробивалась сусличья порода. Ты же в молодости на всякую охоту был способен, особенно после коллективизации, когда корову и овечек и все тягло забрали, и землю, и запас зерна. Кто похитрей — сбегрил пашеничку втихую киргизам петропавловским, и скота много сумели увести, пока доперла власть, что очищается единоличник от содержания, как умирающий при последнем издыхании выгоняет из себя все, чтобы пред Богом предстать в чистоте телесной, а до душевной — другое дело. И твой отец был не из праведников, сказал, что хоть всякая власть и от Бога, но дожидаться не стал, все хозяйство спустил с рук, в сусеках можно в чикку играть. Пришлось голодовать вместе со всеми, вот тогда и подсказал старик Шатила, одинокий, безобразный:

— Пошли, Ларька, со мной, научу тебя от голода спастись.

Пошли вы вечером на Кизилровку, тут раньше ребятишками сусликов из нор выливали. Днем зверьки по домам сидят, вот ребятня и льет в нору воду. Бывало, что папаша ихний хлебает, сколько может, а потом вылезит и бежит в сторону, раздутый и страшный. Ткнет кто палкой в брюхо — вся вода вытечет. А семейство той минутой в разбег, кто куда. Выходит, спасал папаша семью свою, во как. Бывало, выльют в нору одно ведро, за другим сбегают в соседнюю лягу, а нора уж полная. Только потом объяснил Шатила, что суслик своим телом перекрывает нору в узком месте, а другие тем временем спасательный ход роют.

Шатила показал, как надо петли вязать, чтобы суслик обязательно попался, как петлю крепить, чтобы зверек с ней не убежал. Ты тогда все перенял и тех сусликов носил домой по паре, а то и по две в день. Мать поначалу отказалась суп варить из нечистого мяса, но отец молодец, растолковал, что суслик есть суть чистейшей животины, потому, как пташка божия, питается природным зернышком. Ты тоже поначалу брезговал, морду воротил, а с голодухи как-то хлебнул ложку, вослед другую — ничего получилось. А суп в самом деле наваристый был, приходилось на засов запираяться, чтобы не увидел кто случайно да не сдал властям, что свинину жрут втихаря от остальных голодных колхозников. Кроме того, Шатила научил выкапывать по осени сусличьи гнезда, в которые они натаскивали запас зерна на зиму. Ты сильно удивил и напугал отца, когда приволок в мешке не меньше пудовки пшеницы. Перехвати недобрый человек — тюрьма...

Вася поел каши и выпил кружку чаю с сахаром, винтовку свою рядышком положил и, как с молодой женой в обнимку, уснул. Велел только разбудить и с собой взять, когда к поселку поедешь.

Что же далё? Ага, сходил на свой помысел, трех штук принес, быстро освежевал, в отдельном котелке сварил, обобрал мясо, а кости прикопнул, не дай Бог, кто увидит, со свету сживут. Варёво то в котел кинул, смотришь — и зайчатина повеселела, верх мелкими звездочками подернулся. Хлебнул ты того кондера и удивился: до чего к душе, вот порадуются мужики!

Ты тогда еще насобирал дровец, валежника разного да прутьев, это хорошая привычка, потому что на новом месте, случалось, вообще никакого топлива не оказывалось, а то еще чище — дождь пойдет. А солдат и в ненастье есть хочет похлеще, чем в ясный день. Потом Васю поднял, тот на повозке приспособился за теплым термосом и захрапел. Ты тогда еще травки подкосил для Серухи, лишней не будет, запас карман не трет, поймал гулявшую рядом кобылу, запряг в повозку, сел на облучок и покатил. На ходу соображал, что хлеба еще и на завтра хватит, а если не подвезут, то мешок сухарей всегда в запасе, заварка есть, да для чая сейчас смородинный лист — милое дело, кто понимает. И неожиданно для себя улыбнулся: елки-палки, это же тебе шибко повезло, что бывшего кашевара особист увел, сказал, что лазутчики кинули в батарейный котел какую-то яду, от которой сдохли бы все мужики, а повар то ли в стоворе, то ли бдительность посеял. Жранину ту вывалили в яму и зарыли, солдатиков тушенкой отоварили, банку на двоих, а повара того больше никто и не видел. Поговаривали, что офицеры трехлитровую фляжку спирта ночью под ей-Богу выпросили у кошевара, а после трекнулись. Почему фляжка у повара сохранялась? Да видно, старшина попросил придержать, сам куда-то отлучался. Вот отчего старшина именно тебя избрал из всех — то неизвестно. Угодил, видно, когда-то, вот и поручил. Сказал, что варить научишься по ходу жизни, пару дней терся тут паренек вихрастеный из соседней батареи, подучивал. Конечно, кое-что ты ухватил, а там понеслась.

Вон батарея, под деревней обосновалась, удобная позиция, фашистам за домами не видать. Ребята уж земли нарыли — горы, тут и под орудия, и для землянок, и ходы сообщения. Кухню увидели издалека, кое-кто приветно пилоткой помахал. Ты уже и место выбрал, где остановиться, и термос открыл, и даже запах мясной вкусный уловил, вроде даже двоим-троим успел в котелки положить... Или не успел?

...В мирной еще жизни случались в деревне драки. Были два братца Казаковы, Илья да Григорий, как подопьют — непременно драку надо учинить. Да не просто так, а чтобы на всю деревню. Коля из огородной изгороди выламывают — и искать себе супротивников. Ведь находились! Совсем из другой кампании мужики, слова против не сказали казачатам, а тоже: жердь пополам — и в Бога мать! Вот при такой драке ввязался твой дядя Проня, не из драчливых, но шибко выпивши был, баба не усмотрела, как он кол сгреб и Гришку повдоль спины отоварил. Гришка взревел, Ильюха орет: «Кто брата хряснул, не жить тому на белом свете!» Тетка твоя и взмолилась: «Ларя, родной, выдерни ты мово из бучи! Убьют его казачата!» Ты и метнулся. Вот тогда первый раз сознание отлетело, потому что по голове, хоть и со скользом, прошлась Гришкина жердина, вместе со шкурой прическу шибко испортила, но до мозгов не достала.

И тут точно такая же жердина вдруг сильно ударила тебя по голове, черпак выпал, Серуха взметнулась и пала, брюхо ей разворотило, повозка опрокинулась, ты упал в вывалившееся еще теплое варено. Потом снаряды падали еще и еще, но ты уже ничего не слышал, был высоко над боем, над этой равниной, над Россией. И летал ты как бы безразлично, наблюдал за всем без содрогания, а надо бы. Кончили батарею. Целиком. Как упал на землю, не помнишь, но была боль по всему телу, как нарыв. Только вечером пришла полуторка, похоронная команда зарыла весь личный состав батареи, только тебя признали живым и кинули в кузов.

И что он тебе помнил, этот тобою не виденный бой, временами в ушах вязли крики «Мама!» и рев искалеченных мужиков, мат, прорывавшийся сквозь взрывы, и грохот такой, как будто вся фашистская артиллерия нашла эту точку и обозлилась. Помнится и варево это ценнейшее, что вез ребят порадовать. И как зайцев драл, и как сусликов трусовато обрабатывал, чтоб не дай Бог не застучали. Одно время являлась в памяти картинка, что хлебают братцы кондер да еще хвалят находчивого кормильца. Потом совсем другое: взрыв, котел на землю, лошадь лежа рвет гужи, а сам ты летишь, и так долго, что даже удивился. Ничего, пал-то рядом, это душа взлетала, по ошибке на свой счет команду приняла. Тоже ничего, вернулась. Все обошлось, но пришлось по госпиталю потаскаться, все-таки случай, сказывали, редкий, что с человека черепушку сняло, а он живой. Мозги всякий желающий может при перевязке посмотреть, а Лаврик при этом спокойно шаренками вертит. Если Гришка тогда только кожу снял и прическу навсегда изгадил, то фашист дальше пошел, кость сковырнул. Одни доктора говорили, что не жилец теперь солдат, другие проталкивали все дальше от фронта, в городской госпиталь. И погодись там в эту пору молодой хирург, что он сотворил — разве где в бумагах занесено, только при выписке сказал:

— Я тебе, Акимушкин, такую пластину вставил, что ей сносу не будет. Только поимей в виду: в одном месте не рассчитал, не хватило до кости, получилось как бы полое место. И будет теперь у тебя до скончания века бить родничок.

— Откуль? — испугался ты. — Не из башки же?

— Да нет, — успокоил доктор. — Видел ты у новорожденных на маковке родничок?

Кто же не видел, конечно, знакомое дело, ты даже обрадовался:

— Щупал у младшеньких братишков. Еще говорили, что темечко не заросло.

Врач радости твоей не одобрил, предостерег:

— Так вот, у братишков, как ты говоришь, заросло, а у тебя всегда будет. Место это береги, потому как там до мозгов одна пленочка, соломинкой можно проткнуть. Шапку носи или кепку, иными словами, все в твоих руках.

Правда, руки-то остались, потрескавшиеся, обожженные кипятком и углями из костра, поознобленные в лютые степные морозы, когда даже штрафбат лежит вон за соседней полосой, и немец тоже не дурак в такую погоду «хайлю» кричать, тихо сидит. Один раз унюхал носатый повар, что пахнуло вкусно, так у него на кухне пахло, когда старшина принес банку порошка, велел заварить, к батальонному какой-то начальник приехал. Осталась банка и слово, новое для тебя: кофей. Не доводилось больше, да и так ладно. А повару и в такой мороз суп надо варить либо кашу, потому что русский мужик в мороз жрать горазд. Вот работы никакой, а кашу клади с горкой, да чтоб сало...

Комиссовали аж в Горьком, на Волге, посмотрели, что вроде умом мужик нормальный, врач еще спросил, какие арифметические действия в школе изучал. К чему спросил?

— Какие действия, товарищ военврач? Тимка Легонький где-то болтанул, что в советской школе учат только отнимать и делить, ну и поехал на угольные шахты, даром, что малолетка. А я уж большой был, когда в школу пустили, младшую группу в церковно-приходской с помощью папды освоил.

— А попадья причем?

Ты улыбнулся, покосился на молоденькую медсестру:

— Дрова ей колод, а когда беремя принесу на кухню, она велела руки отогревать и в разных местах ее трогать.

Военврач захохотал:

— Ну, и как?

Тут ты ступешался:

— Да никак, товарищ военврач. Поп, видно, зачуял что-то, отлучил меня от кухни, другой зарок дал.

Но врач уже завелся:

— А попадья ничего была, рядовой Акимушкин?

Зарделся давно необнятый, нетронутый женской рукой, нецелованный рядовой-красноармеец, и охота было соврать, что и так, мол, и так он эту попадью, наслушался от бывалых, какие фертеля с бабами можно выкидывать, но совесть одолела, и всегда она, совесть, поперед русского человека. Соврал бы — глядишь, другое отношение у военврача, да и медичка тоже зарозовела, ждуд. Проглотил сухую слюну солдат и признался:

— Попадья — баба была справная, и есть что в руках подержать, и прочее. Но я тогда еще Бога боялся, да и мал совсем был.

Тут военврач с медсестрой уже вместе захохотали:

— Так мал или Бога боялся?

Ты тогда совсем сник, сбился с толку, встал и спросил:

— Мне в палату или как?

Военврач тоже встал:

— Поедешь домой, сейчас бумаги сдам, к утру документы оформят.

Ты тогда сходил в хозчасть, получил обмундирование, правда, не свое, сапоги по размеру и портянки, шинельку стираную и шапку, потому как зима. В палате вас трое осталось, только спать улеглись, медсестра приходит, та, что на комиссии была:

— Акимушкин, — говорит, — тебя приказано в другую палату перевести. Вещи свои оставь, а сам за мной.

Привела тебя в маленькую комнатку, пижаму расстегнула, штаны сдернула — и к себе в постель:

— Акимушкин, дорогой, как же ты нецелованный с фронта придешь, когда еще тебе, несмелому, девчонка сама намекнет? Иди ко мне, защитничек ты мой, я тебя приголублю.

Шарнул руками в темноте, знакомое руки узнают, такое и у попадья было. Вот как жену из памяти выкинул, что даже тут не дал себе воли сравнить, не дал, да и хорошо это. Дальше плохо помнишь. Под утро увела она тебя в палату. А ты и не спросил, как зовут, может, написал бы из дому.

Только дом тебя встретил плохо. Понятно, про все в письмах не скажешь, а дело совсем никуда. Отца Павла Максимовича в первую же осень забрали, да тут и лег. Бумага пришла, что схоронен под деревней Приветной. Два младших брата остались после войны не по своей воле служить на освобожденных территориях, посылки кое-какие слали матери. Анна Ивановна писала, что сестры в замуж повыскакивали из шестых классов. А старшой Филька с войны сбега, объявился тихонько, мать котомку собрала, что есть, и отправила. А куда? Где он теперь, зарылся ли, как волк, в нору или шалаш какой сварганил в глухих местах? А может, разбойником изделался, он варнак добрый был еще в парнях. И что, если так? А

далее куда? Ты тогда сказал матери, точно сказал, потому что долго об этом думал, а потом перестал:

— Надо Фильке властям сдаваться, все едино отловят и к стене, а так, может, снисхождение выйдет.

Мать выла у печи и вытиралась давно не стиранным горшеиком. Тебе шибко к деду Максиму на могилку хотелось сходить, и пытался сходить, попроведать, как заведено, но не пробился, столько снегов намело, что с дороги не сойти. Колхоз солому с горы возит, колея набита, а мимо — по самую ширинку, не ступить. Постоял, поглядел в тот угол, где деду место отведено, да и подался назад. Конечно, место наше, фамильное, тут все Акимушкины зарыты, так заведено в деревне, что у каждого свой край. Отчего умер человек, никто и не спрашивал, нету разницы, от какой причины. А вот Филька дуру сгородил, погинул бы на войне — матери какая-никакая пособия вышла, все полегче. Да и от народа страмно, считай, в каждой избе зеркала позавешены, а тут живой и блудит неизвестно где.

Вечером прибежала Наташка Цыганка, от тебя занавеской кутней задернулись, шептались с матерью так, что посуда звенела. С Наташкой только в разведку ходить, она хриповатая и быстрая на язык, так что весь рассказ слышно было, как на собранье. А дело в том, что приехал к Наташке ухажер еще с довоенной вольной цыганской жизни и сказал, что Филька живет на кордоне у лесника под Бугровым. Цыган сахар на овес менял у того лесника и Фильку высмотрел. У матери опять слезы, а ты всю ночь тыкался мордой в свернутую куфайку, перины и подушки мать в войну продала, выменяла на муку или крупу, уже забыл. Тыкался и думал, что надо как-то брательнику пособить, а вот как — ума не хватало. Только начинал сильно думать, душевно — сразу заскребется какой-то насекомый в голове под шкуркой: шуршит, тукает, как будто выпростаться хочет. Тогда ты переставал и правильно делал, потому что от головных мыслей и не такие люди с ума спрыгивали. Вон Ефим Кириллович, не нам чета, до войны кладовщиком был, первый человек после председателя, а на фронте чем-то тяжелым немец по голове угадал, привезли Ефима, а он хуже ребенка, даже до ветру не просится. Ведь какой человек был — не достать, а под себя ходит.

Ты утром лыжи с крыши достал, хаживал до войны на охоту, широкие себе изладил, скользкие, сами бегут. Горбушку хлеба и луковицу под куфайку спрятал, когда лыжи наострил, мать увидала:

— Ты с чего это лыжи добыл? Не петли на зайцев?

— Петли. — И тронулся со двора. А мысль была такая, что надо дойти до Бугровского кордона, дорогу ты помнил, найти Фильку и хоть узнать, что он дальше-то думает. Цельный день шел, отвык, ноги вываливаются из сиделки, да и красота вокруг знакомая и забытая. Березы стоят в куржаке, толстым слоем ветки и листочки неопавшие прикрыты, ты помнишь, что старые люди не велели куржак сбивать. А забава эта интересная, бывало, гурьбой молодняк уберется в лес, это с презимья, когда еще пешком можно все обежать, которые женихаются, те приотстают и лижуются. Спрячется кто-то с доброй колотушкой за березой, когда пара подойдет, он и стуканет по стволу. Весь куржак лавиной скатится с дерева на молодняк. Визгу, смеху... А про то, что нельзя иней стряхивать, дед Максим учил:

— Иней, сынок, куржак по-нашему, упасает веточки и почки будущие от морозу. Так природой предусмотрено, что иначе погинут. Оттого

и баловаться не надо. Оно, знамо, люблю глядеть, как валится белое да чистое, только вреда больше от этого, чем радости.

Дед Максим, когда совсем старый стал и по хозяйству не работал, летом запрягал в телегу смиренную Пегуху и уезжал в Акимушкины избушки, место так звалось, потому что Акимушкины испокон веку, как начали леса выжигать, тут обосновались. Рай земной, а не надел. Тут для пахоты местица необозримо, надо только дюжину дерев убрать, что на дрова, а что и в дело, распилить и к дому, пригодится в амбаре или в пригоне окладник заменить. Потом еще трудов немерено, до пашни надо пни вырыть, ямы заровнять, пни собрать да сжечь, потому что от них, если гнить начнут, всякая нечисть может завестись. Тут и пустоши для сенокосов, дед Максим до последу терпел, все ходил по полянам да пустошам, мял в ладонях-жерновах метелки трав, только потом говорил:

— Седни станем литовки отбивать, ты, Павлуша, каждую проверь, чтобы в работе не стоять. Первая за Пудовским озером пустошка осыпала семена, надо косить. В иных местах тоже поспевают, так что лежать некогда.

— Дак мы, тятя, с весны еще и не леживали, — осторожно возразит отец. Лаврику даже сейчас интересно, отец уже четырежды родителем был, а деда побаивался, не перечил, в работе жалел, перед первым законом говорил:

— Ты бы, тятя, вставал последним и косил влеготку, а в середине такой слободы нету.

Дед мимо ушей пропускал совет, выговаривал:

— Пока могу, буду за Филькой идти, он из всей природы самый тяжелый, вот и подрежу пятку раз-другой, ястребом станет летать над копениной. Скажи ему, чтобы барана заколол вечером, свежее утром сварят, а остальное сам посоли, бабам не доверяй.

Барана привезли из деревни, когда последний раз ездили к обедне. Одну службу дед позволял пропустить, а на другую ехали все, только караульщика оставляли. Бывало, в посевную всю неделю дождь моросит, не дает работать, а в субботу выяснит, ветерок пашню обдует, с утра можно выходить боронить да сеять, а у деда служба. Чуть свет запрягает отец иноходца по кличке Красный, потому как шибко рыжиной отдавал, все усаживаются в дрожки, и через час уже дома. Колокола звонят, вся семья оболокается в праздничное, мужики штаны с чистой рубахой, бабы сарафаны скромные и платки, по улице идут степенно, ни с кем не разговаривают, только поклоны в разные стороны. Церковь уже полна, на клиросе хор что-то бормочет, настраивается, вроде все молчат, а звук в храме есть. Дед Максим сказывал, что это Господь смотрит, кто пришел, а кто уже отвернулся от Бога. Вдруг замерло все, врата отворились, и священник, сияющий, как ангел, только что спустившийся с небес, густо пропел:

— Мир всем! Миром Господу помолимся!

Ты стоял с правой стороны, где положено размещаться мужчинам, искоса подглядывая за дедом, чтобы креститься вместе с ним. Не дай Бог пропустить поклон или знамение — тот заметит и потом расскажет, что черти очей своих выпученных не спускают с паствы, так и ловят каждого, кто отступает от устава, примечают, а потом тихонько явятся: «В Иисуса Христа ты веришь понарошку, крестисься невпопад, дак переходи к нам, у нас вольница, никакого Бога нет, можно не робить, а воровать, можно мать и отца не почитать, а жену променять на соседку». Ну,

тебе это пока не грозит. А ты ухватывай службу, когда поклон, когда в пояс, когда на коленях. Бывает, по литургии, следно глаза закрыть от стыда за грехи свои и плакать, да не на показ, а чтоб сам Господь не видел, во как. «Тогда для чего реветь, если он не увидит?» — «Он не увидит, а знать будет. И когда я приду к нему, и спросит он: “Раб Божий Максим, все ли ты делал в земном бытии так, как я велел?” Ответу: “Ты сам видел, Господи, можа, чего и не совсем так, но не во зло, а по недоумению”. Вот тогда он простит и кивнет Архангелу Михаилу, мол, отвори врата рая, этот удостоен».

После службы чинно выходили из храма, бросали нищим медные гроши, обнимались с родственниками. Далее дома был обед, съедалось все, потому что с раннего подъема на пашне маковой росинки никто не слизнул. А потом общий отдых. Падали кто где: молодежь под сараем, старшие в доме. А уже вечером со всех улиц деревни тихонько шли телеги и дрожки с отдохнувшим народом. Ты слышал, что единожды отец дернулся возразить деду:

— Неделю погоды ждали, давай, тятя, отсеемся, а потом и отмолим свой грех.

Дед Максим потербил свою негустую бородку и ответил:

— Пашка, тебе к сорока годам подпират, а хребтина не окрепла. Останемся, посеем, а что после? Ты забыл, как высыхало все сеянное и только черныбыльник дурил на пашне? Забыл, как саранчу приносило по воздуху и падала она на наши поля, когда Филька соседскую девчонку изнахратил. Только дивом деревня отстояла его от веревки, не оказалось у сиротки заступников. Но свое наказание мы получили, и я про то знал. И есть страх, что тем все не кончилось.

В стороне Филя тихонько зарезал и освежевал барана. Отец принес все литовки, дед Максим выволок из-под крыльца березовый коротыш, в торец которого вбита маленькая наковаленка. Угнездившись на низенькой табуретке, дед несколько раз опробовал отбойный молоточек на наковальне, звуком остался доволен, подхватил литовку, развернул как надо и ловкими мелкими ударами стал оттягивать жало косы по всей длине. К концу коса щерилась неровностями, как наджабленными зубами, но ты уже знал, что завтра косари быстро выправят это брусками.

Ты с детства любил покос. Вставали так рано, что только край востока чуть светлел, сонно собирали литовки, бруски точильные, воду в ладейке, корзину с хлебом, зеленым луком и куском баранины на обед и гуськом шли на пустошку. Роса так заботливо смочила каждую травинку, так щедро залила тропу, что вода хлюпала в промокших лапотках. Дед Максим шел передом, и шептали что-то губы его, ты видел сбоку, шептали молитву, дед вчера тебе ее прочитал. Остановились у опушки, дед командовал:

— Паша, благословясь, начинай ровненько, чтобы ручка по всей полянке прошла, а клинья потом выкосим. Ну, дети мои, настал день, сказано: коси, коса, пока роса! Вот какая нам удача, что утро росное. Это добрый знак. Благословляю всех, и с Богом начали.

Ты еще не умел косить, и тебя на другой день не поднимали так рано, но ты просыпался чуть свет, надевал штаны и бежал по еще не просохшему следу. Солнце начинало выползать над лесом, обещая хороший день, и косари не отдыхали на длинном прогоне, на ручке, и только дойдя до леса каждый доставал брусок и, воткнув литовище в землю, пучком травы вытирал мокрый металл. Потом одной рукой осторожно, как бритву,

брал косу снаружи за самое жало, другой аккуратно обихаживал блестящее лезвие с обеих сторон.

Еще из того времени помнился суп с бараниной, дома такой не варили, а тут картошка, лук и куски свежего мяса.

Изба была срублена добрая, мох в пазах слежался, был толщиной в палец, изнутри избы аккуратно срезан, а бревна отполированы до блеска. Были широкие нары и полати. Небольшая русская печь, сбитая дедом Максимом из сырой глины, в ненастье и непогодь грела, тут же варили в ведерных чугунках еду для всех работников, пекли на горячем поду плоские ржаные булки. Дед Максим говорил, что работнику надо ржаной хлеб потреблять, это на гулянке можно ситным баловаться. Чуть в стороне — баня по-черному, просторная, чистая, потому что сестры после каждой топки промывали стены с песком. Тут же навес для инвентаря, ясли для лошадей. В стороне колодец глубокий и вода чуть солоноватая. Отец посылался перекопать колодец в другом месте, дед отсоветовал:

— Соль в водице, сынок, никому не повредит. Если хочешь знать, нас в армии специально солью кормили, ложку с утра сглотил — и весь день сухой, и тяги к питью нет. Соль и скотине пользительна, гляди, как лошадь пьет, бадью без отрыва. И корове надо соль давать, говорил один грамотный, что есть такая соль каменная, корова лижет, и молока больше. Не тронь, пусть стоит.

...Деревню на пути ты обошел стороной, чем меньше видят, тем спокойней. К полудню утомился, отвязал лыжи, утрамбовал место вокруг еще довоенного пенька. Хлеб и луковица не замерзли, пожевал, иногда прихватывая морозный снег. Сидеть долго не рискнул, по фронту знал: если усталый присел, можешь и не встать. Нацепил лыжи, вышел на санный след. В голове все крутилось: о чем говорить с Филькой, о чем просить? Чтоб мать пожалел? Чтобы семью не позорил? А это Фильке надо? Ведь он три года уже покойником живет.

К Бугровскому кордону вышел к вечеру — зло, остервенело, с хрипом залаяли собаки; мужик в меховой безрукавке, видно, со скотиной управлялся, вышел из теплой стайки.

— Кого нелегкая на ночь глядя? — сурово спросил.

Ты тогда подошел поближе и через высокое прясло сказал почти шепотом:

— К брательнику я, к Фильке, а сам буду Лаврентий, Акимушкины мы.

Мужик смутился, но ненадолго:

— Брательник твой ко мне в гости уезжал или как? У меня таких друзей нету, так что, мил человек, иди со Христом, а то кобелей спуцу.

Ты тогда тихо сказал от усталости или от безысходности:

— Филька у тебя с начала войны живет, нам цыган сказал, который тебе сахар привозил.

Мужик взревел:

— Если не уйдешь, спуцу собак, а и уйдешь, дак забудь, что я есть. А цыгана твоего к утру жизни решу, чтоб без свидетелей. Убирайся!

И тут ты услышал знакомый голос, родной, можно сказать:

— Обожди, Кузьмич, это в самом деле брат мой, но он безвредный, голову ему нарушили фашисты, инвалид, хоть чего пусть плетет — веры ему не будет. Это я от надежных людей знаю.

Хозяин выматерился:

— Смотри, Филька, ежели что — я тебя не знаю, приблизился, работал, лишнего не позволяя. Я вывернусь, про себя подумай.

Филипп отошел в сторону и открыл воротца:

— Со свиданьем, брательник. Проходи вон в ту избушку, мы скоро управимся, поговорим.

Ты чиркнул спичку и снял стекло с маленькой лампы, зажег фитиль. В избушке тепло, но жильем не пахнет, все пропитано табаком и еще чем-то, чему ты не знал названия. Небеленые стены и грязный пол наводили тоску, но ты устал, присел на братов топчан и уснул. Проснулся от стука двери и ворвавшегося холодного воздуха.

Филька сильно исхудал, до войны был даже выше и в плечах шире, лицо сбежалось, сморщилось, глаза сухие, острые, злые. Они и до того добрыми не были, дед Максим все удивлялся, в кого это Филиппка такой уродился. Молча поставил на плиту чайник и подкинул пару полешек дров, сел на табуретку супротив топчана:

— Ищут меня дома? — спросил безразлично.

Ты встал с топчана:

— При мне не бывали, но мать говорит, что чуть не каждый месяц.

— Мать-то как?

— Плохо. Все ревет, да и жрать нечего. Фрол и Кузьма все служат, девки в замуж повыскакивали. Вдвоем мы. А ты как? — зачем спрашивал, и сам себе не объяснил бы. Чего тут неясного? Худо Фильке, и без слов понятно.

Филька оторвал клочок газеты, засыпал круто рубленным самосадам, от печного угля прикурил, вонючий дым заполнил пространство.

— Если бы, Лаврик, мне до смерти так жить, то лучшего и не надо. Хозяин кормит вволю, бабу привозит, банька есть. Тоскливо, конечно, но говорю, что жить можно. Но эти сволочи и тут роют, с осени трижды приезжали, едва успеваю спрятаться.

Ты удивился:

— А куда тут скрыться, братка, ведь кругом лес, все следы пишет.

Филька засмеялся, выпустил густой дым, ответил:

— Что лес? Вон в подпол сунушь, они дверь откроют, нюхнут и обратно. Значит, нет у них никакой наводки, так, в порядке надзора. Ты думаешь, я один такой? Да тысячи!

Ты не подумал и сказал невпопад:

— В деревне ты один, да и не слышно в округе, все больше поубивали да покалечили.

— Вот! — Филька вскочил. — Вот и ответ: покалечили да поугробили. Я только в одну атаку сбежал, и мне на всю жизнь хватит. На нас танки с автоматчиками, а у меня винтовка и семь патронов. Упал в яму от снаряда, а он, сука, комиссаришко, меня наганом оттуда, мол, вперед, за родину, за Сталина. Я его и шлепнул. А когда все успокоилось, подался в сторону, думаю, может, повезет, на немцев нарвусь. Ни хрена подобного, кругом комиссары. Я, Лавруша, полгода до дома добирался, а сюда подался, потому что мы с Кузьмичем до войны вместе баловались, магазины брали, кассиров глупых.

— Убивали, что ли?

Филя опять засмеялся, вроде как успокоил:

— Нет, слезы вытирали и домой отводили. Дурной ты, что ли? Я только для сельсовета справку добывал, что на производстве вкальваю.

Тебе стало жутко, перевел разговор на другое:

— Робишь тут чего?

Брат сразу согласился на перемену:

— Все делаю, иногда со злости ухожу в лес, дрова рублю. Пилу себе изготовил с одной ручкой, типа лучковой. А так по двору, у хозяина скота полно, спать некогда.

Ты все искал, как сказать о главном, для чего и пришел, помялся, спросил осторожно:

— А думы? Думы у тебя бывают?

Филя вскинул голову:

— Об чем? Об матери иногда вспомню, о доме. А так — какие думы?

Ты обрадовался, что брату интересно об этом говорить, поспешил с пояснением:

— Жить-то как, Филя? Дале-то у тебя ничего же не видеть. Так и будешь?

Филя вскочил, схватил тебя под горлом за широкую, матью связаную кофту:

— А ты не предложение ли пришел мне сделать от советской власти, чтобы я обналичился, а они потом меня принародно хлопнули? Ты легавых с собой не привел?

Ты едва выпростался из грубой хватки, откашлялся:

— Братка, у меня полчерепа чужого, мозги почти наголе, хватай поаккуратней. Никого я не привел, никто и не знает, где я. А думы у тебя должны быть, не может человек без думы. Тем больше, что грех на тебе.

Брат опять поднял на тебя удивленные глаза:

— Какой?

Ты знал только один:

— Человека того убил в воронке.

Филя хохотнул:

— Дак я и до того убивал. И что теперь? В монастырь идти грехи замаливать? А нашего брата тысячами положили под фашиста — это как?

Надо брату объяснить, чтобы совестно ему стало, а вот как сказать то, что самому ясно до ниточки?

— Это никак, Филя, это выше нашего ума дело, а тут ты вот, живой человек, убивал раньше — все бы искупилось войной, а ты смотался. Отец с братом на фронте, а ты сбег. Это как? Получатся, что отца предал, брата.

Филя опять невесело хохотнул:

— Прибавь еще, Лаврик, что родину предал. Прибавь. Тебе бы в комиссары податься, в партию вступить, гонял бы нашего брата в атаку, а ты череп свой снял за советскую власть.

Ты поправил на голове вязаную шапку, которую надевал под большую, из собачьей шкуры. Молчал.

Филя нарушил тишину:

— Посоветуй, братан, раз пришел в такую даль, что мне делать, вот как брат брату — посоветовай.

Ты не услышал в просьбе брата ничего опасного и сказал тихо:

— Иди с виновной головой в органы, отробишь на лесоповале, а не на этого бирюка, и возвернешься.

Что-то тяжелое и темное упало прямо на твое лицо, ты свалился на топчан и затих. Кузьмич, все время стоящий под дверью, вскочил в избушку:

— Убил, что ли?

Фильку колотило:

— Не вынес, ударил — да, видно, шибко. Прислушайся, дышит?

Кузьмич наклонился над топчаном:

— Здышет. И куда теперь с ним? По мне — в сани и в лес. Кто искать станет?

Филька сидел у открытой печки и жадно курил:

— Не дам убивать. Очухается — пущай домой идет, слово возьму, что не продаст.

Кузьмич засмеялся:

— Слово он возьмет! А если сдаст? Обоим крышка, Филя! Если все наши поскакушки поднимут, то и судить не будет, сразу шлепнут.

Вот это, что сказал Филя, ты уже слышал:

— Я, Кузьмич, смерти уже не боюсь, я жизни боюсь. А Лаврик не скажет, он у нас в семье самый чистенький был.

Ты пошевелился и хотел встать, Филя поддержал под мышки, умыл над поганим ведром.

— Чай будешь?

Ты выпил кружку сладкого чая с белым хлебом, намазанным маслом, и лег спать. Филя примостился с краю, подставив табуретку, чтобы не свалиться.

Утром вы вместе вышли на дорогу, ты в охалке нес лыжи, Филя шел молча, дымя самокруткой. Как хотелось заговорить о главном, о жизни, о родном доме. Филя ведь тоже могилы отца не видел: сели бы за стол, налили из кринки бражки, выпили, не чокаясь, как на фронте над могилами друзей-товарищей, если позволяла обстановка. Потом бы женили Филю, вон сколько свободных баб, да хороших, работающих, здоровых. И матери бы полегче... Ты забыл тогда, что брательнику надо вперед ответ держать за побег свой, а уж потом... Хорошо, что вслух не сказал.

— Отсюда один пойдешь. Никому ни слова, Лавруша, я за тебя поручился перед Кузьмичом, он ночью цыгана того зарезал. А тебя я не дал. Даже матери молчок. Поревет и забудет.

Он развернулся и пошел, не оглядываясь. Ты нацепил лыжи и свернул в лес. Декабрь, скоро Рождество, большой был праздник. Почему-то тебе все больше из детства приятно вспоминалось. Наверно, потому, что в иные годы и не было ничего доброго, сладкопамятного.

Это еще в единоличные времена было, Акимушкины пахали на своих наделах тридцать десятин пашни, ты совсем малым был, без штанов лазил, следом за отцом или за дедом ходил свежей бороздой. Земля мягкая, жирная, плужок ее отвалит в сторонку, основание ровное и плотненькое, детская ножонка только влажный следок оставляет. Ты любил присесть на нетронутую твердь, ноги в пахоту засунуть и ждать, когда отец или дед круг сделают и нарочно грубым окриком тебя шевелят, мол, бездельник, шел бы лучше сорок зорить.

Ты уползал иногда на середину пахоты, чтобы никому не мешать, разгребал осторожно потревоженную землю, выбирал росточки беленькие, складывал в рубаху, а еще выискивал червяков: и простых, которых на рыбалку копали за огородами, и толстых да жирных, противных. Отец давить их не велел, говорил, что они едят вредных для хлеба червяков и мошек. А корешки потом раскладывал на крылечке при избушке, получалось, что на пашне рядом живут много всяких трав, хотя хлеб еще не сеяли. Отец выбирал минутку, притулится, бывало, на ступеньке, ноги вытянет и станет тебе говорить:

— Вот это, Лавруша, все для человека травы ненужные, а для пшенички и проса вредные, они хлебу расти мешают.

Вечером, когда уже укладывались спать, дедушка Максим после молитвы прилег с тобой рядом и шепнул:

— Завтре не проспи, за бороной стану учить ходить.

— На Пегухе?

— Хошь, Пегуху запрягем, тутака на все наша воля. Отцу я уж сказал, он согласен, что пора тебя к делу приучать.

Вот нехитрое вроде ремесло — лошадь в постромках тащит легкую боронку, а ты шагай сзади вприпрыжку, потому что шагом не успеть за Пегухой, мал еще, ножки коротки. Шагай и вожжиной поправляй, если след со следом не совпадают, да на развороте следи, чтобы борона не перевернулась. А если набились палки или огарки пеньков, то борону следно перевернуть, а мусор отбросить подале от пашни. Отец потом специально проедет с телегой, соберет. Нехитрое, а к обеду набегался, в глазах метлячки. Дед Максим боронил рядом на паре лошадей, Пегуху спутал и пустил в лесок, тебя умыл у колодца, посадил на колени, пока сестра кашу с бараниной доваривала.

— Пристал, работник? Ничего, своя работа не тянет. Это боронил бы ты хозяйское поле, чужое, там совсем другое на душе.

— А где это — на душе? — спросил ты, едва слыша свой голос.

— На душе — это, сынок, как во храме стоишь и сердце твое ликует, следно, душа радуется. А где она и как на нее глянуть — то не дано.

А ты уж и не слышал, спал, аж всхрапывал.

— Девки, работнику каши оставьте, он, надо думать, крепко промялся, исть запросит.

То было по весне. Потом дружно сеяли, нося на опоясках полупудовые лукошки с отборным, ровным, восковым, освященным семенем, тут же боронили и протаскивали парой коней гладкое бревно, оно катилось в свободных кованных кольцах на торцах и прижимало взрыхленную землю. Ты вместе со всеми радовался всходам, дед Максим в такие дни с поля не шел, молился и радовался, что хлеба хорошо растут, после июньских дождей оправдываясь за робкие всходы густой, крепенькой, многочисленной из одного гнезда метелкой стеблей, а после на каждом образовался колос, зацвел, зазеленел, заобещал. Только дед Максим отца остерегал от высоких надежд: все в руках Божьих, вот сейчас помочит чуть для налива, потом будем сухую погоду молить, с ярким солнцем, горячим, прямым, чтоб без поволоки на небе, зернышку для налива сухость и свет надобны. Всю пашню пройдешь ты с дедом, и пшеничку проверите, и рожь, она первой под серп подойдет, потому как озимая. Дальше греча, просо, подсолнухи, овес, ячмень — всего понемногу, и безо всего нельзя. Пшеничку на помол и на ярмонку, овес лошадям, гречу и просо на крупорушку к дяде Серафиму, подсолнухи желубить всей семьей и на давяльню, оттуда масло привезут в корчагах. Приятно его подсолить и макать потом в блюдо теплой картошкой или даже хлебушком. Иной раз помятое семечко подцепишь, обрадуешься.

Тебе повеселело от этих воспоминаний, стало затягивать в то далекое теперь уже бытие, в котором столько было щемящего грудь и стесняющего дыханье. Той же осенью дед Максим поставил тебя к плугу. Пегуха уже не стригла ушами, кося глаз на незнакомого погонялу, помнила, видно, весеннюю бороньбу.

Дед сам прошел первую борозду, ловко развернул плужок и позвал:

— Айда, Лавруша, берись оберучь за кичиги, держи плуг ровно, а я Пегуху поведу тихонько.

Ты и сейчас помнишь, как высоко взлетела душа, когда первый пласт вспаханной тобой земли легонько отвалился в сторону, освободив для пахаря и выровняв пашенное основание. Ты легко побежал за плугом, держась за кичиги, грачи, всегдашние созерцатели пахаря, деловито проходили бороздой, будто проверяя, сколь верно пашет новый работник. Иногда они шумно обсуждали что-то, и это тоже было музыкой весенней жизни. В конце гона дед остановил лошаадь:

— Ну, пахарь, как тебе борозда? На всю жизнь запомни этот день, ласковой да сердешной. Первая в жизни своя борозда. На своей земле, матери-кормилице. А на чужой — ничто не в радость, одна усталость. Ты же мужик, напрок будешь сам пахать, я в твои лета так же начинал, только у нас с отцом была соха деревянная, тоже ничего, управлялись. И борозду свою первую помню. Потом женим тебя, ну, я не доживу, а отец тебе отведет и пашню, и покосы, станешь хозяин, а когда человек сам себе хозяин — запомни, Лавруша, он ни перед кем шапку не ломат, окромя Господа.

Дед Максим умер тихонько, вечером зыбку качал с младшеньким, а утром сноха зовет его первым блины есть, а он с полатей и голоса не подает. Хватили, а дед уж холодный. Отец тогда сильно в горе впал, все бабы выли, а ты не мог в толк взять, почему дед Максим, еще вчера учивший правильно держать пилу-ножовку и рубанок, сегодня лежит на спине, молчит и сурово смотрит из-под медных пятак на глазах.

...Ты остановился, смахнул неожиданную слезу, присел на буреломную лесину. Пожевал хлеб с салом от Фили, отдохнул — и снова на лыжи. Уже темнелось, когда вышел на знакомые места, лыжи пошли ходко, усталость пропала. Дома поставил лыжи под сарай, щепой оскоблил снег с пимов, вошел в избу.

— Тебя где носило двадни? Я уж испужалась, что заблудился в лесу. Поймал чего? Или как на простой?

— Порожняком, мама, нету зайца.

— Ладно, пожуй картошки да ложись спать. Тебе велено утре в район добираться, в военкомат на проверку. Вон гумага лежит.

Достал из кармана куфайки остатки сала, начал жевать с теплой картошкой, а мать в куте онемело на тебя смотрит. Как ты того не подумал, что негде тебе в лесу сала взять, откуда оно у тебя? Мать пальцем тычет в стол, а сказать не может, свело всю. Ты вскочил, подхватил мать, посадил на лавку.

— У Фили был на кордоне, жив он и здоров, кланяться тебе велел.

— А дале-то как? Куда дале-то? Так и не увижу его, родную мою кровиночку. Всю он меня измотал, все сердчишко мое изорвал, все волосешки я, ревучи, повытянула из головенке, дак хоть перед смертью поглядеть на него. Самый злосчастный и самый что ни на есть больной для сердца моего, Господи!

Охвати, Лавруша, больную свою голову руками, сдави, сожми, стисни, пусть мозги из последних сил соберутся в одну точку, чтобы понять, почему все так получилось. Взял ты в руки ту бумагу, повертел, положил на божничку, чтоб знать, где искать. А то кошка заиграт куда-нибудь в подполье. Залез на полати, ткнулся в давно несвежую постель, а Фили с ума не идет. Надо его вернуть домой, тогда все на место встанет. Тогда и погибель отца станет понятна, и что тебя изувечило — можно принять, что братовья до сих пор лямку тянут в чужих землях — пускай, если это

так надо. А Филька? Таскать говно у этого бандита? Ведь сказал же Филька, что цыгана того зарезал ночью. Он и брата может так запластнуть, чтобы следы отвести. И Филька измучился весь, ты видел, душа его вся истерзана, она хочет к праведному прибиться, а он боится. Ты это сразу заметил, что он смерти боится, жить хочет, он ни разу не сказал, что перед народом ему будет плохо, мутно, совестно, стыдно, страшно. Эка ему душу-то извернуло, она другой стороной наружу, испоганенной, изруганной, проклятой. А ему только это надо, чтобы жить, дышать, жрать, бабу вот ему хозяин привозит. Он еще тогда, в первом бою, в воронке, предьявил свое право жить, как хочет. Да нет, раньше, просто никто про это не знал, как они с Кузьмичом разбойничали. Ты вспомни, точно, доходили слухи, что грабят и убивают в городе, не Филька ли с Кузьмичом? Он же сам признал, что убивал. Только вроде сон накатит, опять брат на уме, опять думка. Так до утра и промучился.

Утром сбегал в сельсовет, сказали, что четверых инвалидов отправят на советской лошадке в район, тут недалеко, верст пятнадцать. Прибежал за тулупчиком, от деда Максима остался, моль изрядно почикала, но кой-чего осталось, прикрыться можно. Ехали посменно, пара сидит в санях, пара сзади рысью, потом меняются. Так всегда ездили в район, как новая власть стала и своих коней лишились, а раньше, даже ты помнишь, отец запрягал иноходца в кошевку плетеную, дед Максим и плел, кружевная была, чисто венчанная накидка на невесте. Вперед ветра прибежали в волость, отец с матерью степенно обходили лавки, а ты сидел в кошевке, закинутый аж двумя тулупами... Толком повспоминать мужики мешали, спорят о чем-то, ругаются.

— Лаврентей, ты бабу-то свою забирать будешь? — вдруг вернул тебя в сознание Федька, Петра Хромого сын.

Отцу его Петру Игнатьевичу ногу еще японские пленные доктора в городе Артуре на дальнем океане отпилили, его сразу Хромым окрестили, а Федька так и прозывался — Петра Хромого сын. Федька ехидный, все под шкуру лезет, а ты этого не любишь.

— Проснулся? Бабу-то будешь ворочать домой или так и благловишь чеботарю? Тогда хоть магарыч с него возьми, не дарма же ты столь сил на ее положили.

Зря, не вовремя такой разговор, ты про другое думал, о Фроське не хотелось сейчас, да и вообще не на людях об этом надо бы, а самому с собой, душевно посоветоваться. Но от Федьки не отвяжешься, пришлось сказать:

— Надумаю — ворочу, а то, можа, и нет. Измену терпеть не могу, но, опять же, жена она мне венчанная.

— Во как! А ты ей муж, стало быть, на сору найденный, если она так тебя изменила? Ты хоть видел ее?

Ты на второй день после возвращения специально утром к колодцу вышел, знал, что она с чеботарем живет и в спец колодец каждое утро по воду должна приходиться, потому как корову держат, поить надо. В утреннем сумраке постоял в сторонке, она пришла, проворно черпанула две бадьи, перелила в ведерки и коромысло вскинула. Куфайка на ней легкая, полушалок простенький, не застудилась бы. Лица почти не видно, но тело, видать, свою форму берет, в бабу перешла, не то, что в первый год жизни — девчонка жиденькая, хворостинка, одной рукой охватывал. А на ласки падкая, не дождетса, пока родители за стенкой укладутся, всего изомнет, истискат, понадкусат во всех местах. Ты только хихик-

нешь от восторга душевного и ее притулишь, мол, потерпи чуток, отец не спит, подкашливат.

Ты из письма матери знал, что только полгода и прожила невестка без мужа, стала погуливать вечерами, все прикрывалась рукодельем у подружек, а потом обнаружилось, что приехал в деревню одинокий мужик, дали ему свободную избушку, и стал он обутки ремонтировать. Писала, что городской, нерусской нации, зовут Самуил, а фамилию и вовсе не выговорить. Вот к нему и прибилась, собрала как-то вечером узелок с тряпьем и дверью стукнула. А чеботарь тот, писал ему верный друг Климка, по ранению раньше домой вернулся, писал, что чеботарь тот не из простых, снюхался с председателем, к нему районное начальство забегает, копейками не трясет, в город ездит продовольствие закупать, он и Фроську пристроил в сельсовет бумаги перебирать...

— Видеть видел, только молчком, не могу пока разговаривать.

Федька оживился:

— Лаврик, не соври, баба твоя слух пустила, что не мужик ты, ну, мол, с головы повлияло на это дело. Дак правду она говорит или брешет?

Ты покраснел, вспомнил последнюю ночь в госпитале, мягкую, послушную, доступную медсестричку, ответил тихо:

— Откуль ей знать про то, нашла отговорку. А все неправда, как был мужиком, так и остался.

— Во, а что-то не слышать, чтобы ты по молодухам... Лаврик, глянь круг себя, сколько баб свободных, вдовых, рады любого калеку приголубить. А молодняк? Женихов всех Гитлер обвенчал, а девки какие, Лаврик, — кровь с молоком. Ты почто не ходишь?

Кто-то из мужиков выпихнул болтуна из саней:

— Пробегишь, а то вроде в охотуходишь. Охолони!

Ты мог бы спасибо сказать тому человеку, уж больно неприятный разговор затеял Федька. Мать тоже на ушах виснет: ту сучку привести не вздумай, на порог лягу, не пуцу. Женись, если сам себя сознаешь, пенсию дают, правда, на работу нельзя, группа нерабочая, но все равно можно что-то дополнительно. И баб называла вдовых, даже без детишек, и девок, которых он помнил еще сопливыми, в последний сенокос они с грабелями ходили, сено заскребали за копновозами. Так, лет по двенадцать. А теперь подросли, хоть и не нагуляешь жиров на военных харчах, но природа берет свое, уже девки, правда, сухонькие все, легкие, и глаза грустные. Почему ты в клубе на глаза их смотрел, почему в них тоску увидел, может, и не было ее, показалось? Нет, ходил потом к другу своему Климке, у него сестренка меньшая, как раз под восемнадцать, и подружки к ней собрались, кружева учились плести на подушки да на этажерки. Разговаривают о простом, а повернется которая к тебе — холодные глаза, не девичье горе в них, а сродни вдовьему. Ты только потом, много позже, поймешь, что видели девчонки впереди жизни свою безнадегу, всю ровню их война уже сосватала и повенчала. Редко какой выпадет счастье, когда начнут демобилизовываться младшие возраста, остальные так и проживут одинокими безотказными в работе передовыми колхозницами, перебиваясь случайными встречами да редкими уворованными нетрезвыми гостеваниями чужих, женатых, немилых.

Сразу с саней — и на комиссию, тебя провели к врачу, он осмотрел голову и прощупал вмятину. Сверху вниз заглянул в лицо:

— Болит?

— Кто? — невпопад переспросил ты, не про это думал.

— Голова, спрашиваю, болит?

Ты помолчал. Мать учила: соври, что весь чалпан разворачивает, жалобись, можа, пенсию добавят. Сказал:

— Когда есть об чем — болит.

Врач сел перед тобой на табуретку.

— Как прикажешь тебя понимать?

Ты стал объяснять, подошли послушать медсестра и офицер военкомата.

— Вот сейчас ей об чем болеть? Все аккуратно, чисто, со мной по-людски. Правда, по дороге Федька, Петра Хромого сын, привязался, отчего жену свою не забираю, она, пока я по госпиталям таскался, к чеботарю ушла, но я не стал связываться. Подумаю и заберу, у меня сейчас не об этом душа страдат.

— А о чем, скажите?

Ты расположен был к душевному разговору, в деревне так не поговоришь:

— Брат у меня в бегах. Отца закопали где-то под Москвой, братовья все еще служат, а Филька с фронту сбежал и наделал горя.

Офицер насторожился:

— Так ты, Акимушкин, братом доводишься дезертиру Акимушкину? Что ты про него знаешь? Где он?

Ты сник, опустил голову.

— Ему бы покаяться прийти, столь миру погинуло, как жить после этого? И душа его просит, а тело супротив, ну, смерти боится, жить хочет. Хоть в проклятьи, хоть отринутый, а чтобы жить, чтобы жрать было, чтобы бабу привозили.

Офицер крутым жестом остановил врача:

— Неужто и бабу?

— Да подлость это, я так думаю, но Филька не придет. С ним говорить надо, вот когда он поймет, что нету такого права — жить без покаяния, да не в церкви, ее уж нету, а людского прощения. Если поймет — тогда ему отработать в шахтах или в лесу, сколь отведут, и можно в мир к людям вернуться. Он же молодой — поди, только тридцать.

— А ты его убеждал?

— Пробовал, только я слаб, грамотешки мало, все понимаю, а выловить не умею.

— Слушай, Акимушкин, как тебя по имени-отчеству?

— Лаврентий Павлович.

Офицер аж вздрогнул:

— Ладно, оставим имя-отчество, не будем поминать все. Вот ты говоришь, Акимушкин, что не хватает у тебя грамоты и прочее. А если нам попросить грамотного человека, чтобы тот с ним, с Филиппом, побеседовал по душам, попытался убедить. Как ты думаешь, поможет это брата спасти?

Тут ты некстати вспомнил, как вы с Филькой неводили на Аркановом озере, ты по берегу шел, крыло вел, а Филька здоровый, сильный, поводок на себя намотнул — и вплавь вдоль берега, сколько веревка позволяла. Выплыл, стали тянуть, полную мотню приперли рыбы — и караси, и щуки, и налимы. Налимов ты хотел выкинуть, дед Максим говорил, что они утопленников едят, а Филька смеялся: на Аркановом сто лет никто не тонул, чистый налим, бери в корзину. Приехали домой, мать весь вечер чистила рыбу да ворчала на сыновей, что задали работы. Она умела похвалить вот так, как будто ворчит...

Офицер тихонько потрепал тебя по щеке:

— Акимушкин, очнись, ты меня слышишь? Если хорошего, доброго человека направить к брату, согласится он выйти к людям и прощения попросить? Люди-то простят, правда, Акимушкин?

Ты подумал и возразил:

— Многие простят, а многие и нет, даже на меня косятся, у кого погибли мужики на войне, надо думать, и ему выскажут.

Офицер согласился:

— Конечно, выскажут, так это и ему облегчение, высказали — значит, простили, ведь так?

Тут ты согласился:

— Должно быть так.

Офицер осторожно предложил, даже за руку тебя взял:

— Можешь ты такого человека свести с братом? Только чтобы никто не знал. Можешь?

Ты подумал, что такой человек, грамотный, умный, может Филю уговорить. Кивнул:

— Сведу, ради такого делаведу, даже сам могу подсобить, брат меня жалеет из-за раны.

Офицер оживился, нервно ходил по комнате:

— Рана твоя пустяк, верно, доктор? Пенсию будешь получать в том же размере, может, даже увеличим, правда, доктор?

Доктор недоуменно посмотрел на него:

— Товарищ капитан, что такое вы говорите? Человек болен!

Офицер повернулся к врачу и резко ткнулся лицом в его ухо:

— Заткнись, клизма ходячая, не суйся не в свое дело, поддакивай, когда просят. — И к тебе: — Может, тебе не стоит туда ехать, ведь далеко, да и холода.

Ты уже осмелел, раздухарился:

— Не озноблюсь, тут рядом, я на лыжах лесами за день дошел.

Офицер наклонился к самому лицу:

— Дороги разве нет?

Ты улыбулся: смешной вопрос задает капитан.

— На Бугровской-то кордон? Какая там дорога, так, киргизы иногда проезжают, но след есть.

Офицер встал, вытер пот с лица.

— Ладно, Акимушкин, поезжай домой, мы без тебя управимся.

Ты тоже встал, надел на голову вязаную шапочку:

— Да, товарищ капитан, там лесник злой, глядите, как бы не отказался пропустить. Он шибко людей чужих не любит. Одного цыгана даже зарезал за то, что он Филькино логово высказал полюбовнице своей, а та нам передала. Я-то откуль бы знал?

Офицер уже надел шинель, козырнул медичке, повернулся к тебе безразличным и безгловым лицом:

— Езжай домой, Акимушкин, про наш разговор никому ни слова, и вы, товарищи очевидцы, тоже.

Широко пошел к дверям, любуясь распахнутыми полами шерстяной чистенькой шинели и глянцевыми сапогами.

Расшевелил Федька еще одну болячку в душе, заставил поговорить про Фросю, ты уже стал примечать, что если об чем-то не думать, то и душа не болит. Вроде проклюнется в памяти росточек, а ты его словно не

заметил и мимо прошел. Смотришь — и не вяжется больше, забылось. Нельзя сказать, что он про Фросю не помнил. Письма она ему писала длинные, как пакеты, особисты даже приходили в расположение посмотреть на такого мужика, которому баба такие письма шлет. Тебе и читать их прилюдно было неловко, уходил в укромное место, потому что Фрося с тоски, видно, описывала их ночи на сеновале в летнее время, потом как в шалаше жили на покосе, не уходили в избушку, как специально зимой она прикидывалась простудившейся и выпрашивалась ночевать на печку, а на твое непонимание только жарко шепнула в ухо:

— Молчи, муженек, потом поймешь, потому что печка не скрипит.

А ведь она сама тебя выбрала, на сенокосе перед самой войной все старалась поближе, нет-нет, да и скажет:

— Лавруша, а ты в любовь веришь? Вот что девка без парня сохнет и совсем на нет изводится?

Ты улыбался:

— Не знаю, вроде не видать таких.

— А ты присмотришь, Лавруша, раскрой глаза. Али я тебе не любя совсем? Ну, скажи, почему за мной парни гужом ходят, а ты даже не смотришь?

Ты опять улыбался:

— Как не смотрю, смотрю, но девка ты боевая, а я смиренный, мне тихую надо и послушную.

Вот после таких речей и обняла она тебя за последним стогом на Зыбунах, прижала к себе так, что не вздохнуть:

— Обними меня, Лаврик, прижми, никто нас не увидит, не бойся. А я послушная буду. Видишь, сама разделась — и тебя раздену, потому что люблю тихоню. Ой, Лавруша, все, не могу, лови меня.

В тот вечер с луга вы пешком шли, потому что все уже закончили работу и уехали. После ужина с отцом вышли на крыльцо, отец заметил перемену, спросил:

— Ты чего маешься? Нагрешил где?

Удивился, как это отец догадался?

— Нет, тятя, хочу просить твоего и маминого благословения, чтобы жениться на Фроське Ванькиной. Ну, Пеленкова Ивана Петровича.

Отец молча курил, ты не вытерпел:

— Тятя, ты вроде не обрадовался?

Отец хмыкнул:

— Шибко радоваться причины нет, а подумать — да, есть причина. Мать ее я знал с юности, блудливая была бабенка, про девку ничего не скажу, не слезу, но по породе — путней жены из нее не выйдет.

Ты тогда насмелился:

— Тятя, надо сватов посылать, мы седни согрешили на лугу.

Отец даже не ойкнул:

— Я так и понял. Смотри, Лаврентий, тебе еще на службу идти, я за ней следить не стану. Но и перечить тебе не буду, так и матери скажу. И вот что. У нас трижды никто не женился, выбрал — блюди, но позору не потерплю, выпорю обех и выпру. Вот весь сказ. А благословиться к матери иди, это дело по ее части.

Сразу после записи в сельсовете сели за столы в большом подворье Акимушкиных. Попа с твоей шаловливой попадеей власти прогнали, обосновался где-то в городе. Мать сказала, что надо искать и непременно венчаться, невенчаных Бог не терпит.

— Тогда почто он позволил Макарке Безбородихину с братвой нашу церкву разорить? Что ему мешало? — Отец после первого стакана осмелел. — Я лба не расшибал во храме, спасибо отцу моему Максиму Георгиевичу, он вел в храм и хоть как-то показывал нас Богу. Что церква плохого делала? Ровным счетом ничего. Почто Бог разрешил глумиться? Неправильно он сделал.

— Ладно, отец, благословляй молодых. — Она сунула ему в руки старую икону, Павел неумело перекрестил пару, они поцеловали край доски, и гулянье началось. Фрося как села под белой вязаной фатой, так и не пошевелилась за весь вечер, ты тоже вел себя смирно, бражку и самогонку не пил, и есть ничего не хотелось. Фрося только раз наклонилась к нему:

— Скажи, Лавруша, куда молодых спать положат?

— Нечто я спрашивать стану? На смех же поднимут!

— Гляди, уложат меж пьяных гостей, не видать тебе брачной ночи.

— Не уложат. Тятя порядки знает.

Вам постелили в нарядно прибранной избушке на оgrade, гости утонулись по домам, Фрося заставила мужа растегивать на спине крючки свадебного платья, лампы не зажигали, в темноте тело ее матово светилось, а ты едва пособился с новой рубахой на железном замке. Упали на перину, Фрося легла тебе на грудь и сказала:

— Лавруша, я тебя любить буду изо всех сил и ухаживать за тобой буду, как никакая другая баба. Запал ты мне в сердце, а я краев счастья своего не вижу, так рада, так рада. Мне подружки завидуют, говорят, что ты хоть и тихоня, но спокойный и добрый, а еще семья ваша работающая, и при колхозе вы не пропали. Я шибко тобой дорожить стану и детей тебе рожу, сколь хошь.

Через месяц отец посадил молодых и отвез в большое село Ильинское, там церковь прикрыли, но попа не тронули, и он по договоренности крестил и венчал. Тут тоже клялись в верности и святости.

Эту ее клятву ты вспоминал на фронте, когда читал письма жены и мучился от нахлынувших чувств. А потом вдруг — как взрыв у землянки, как ракета темной ночью, как танковый выстрел над головой — ушла Фрося к новому чеботарю. Ты тогда сильно растерялся, плакал, спирта кружку выпросил у старшины, проспался — того тошнее. Ты тогда по связи числился, тоже хорошего мало, но попросился в разведку. Лейтенант тебя отозвал в сторону, напрямую спросил, в чем дело. Ты признался. Лейтенант послал по всей форме в известном направлении и добавил, что ему в разведке только рогатых не хватало.

Солдаты ведь — разный народ, кто-то письма читал из собственной тоски, кто-то покуражиться, и вот нашелся один такой, при вечернем разговоре вдруг спрашивает:

— Акимушкин, твоя жена ваши любовные утexas описывала, надо полагать, что она и сейчас этими же приемами убажует своего нового мужа, как ты думаешь?

На него цыкнули, но было поздно, ты схватил автомат и вскинул его в сторону обидчика, ладно, что пули верхом прошли. Из штаба батальона прибежал посыльный: что за стрельба? Объяснили, что обманулись в лазутчике, стрельнули, а его нет. Обошлось. Того говоруна ротный сбaгрил куда-то на другой день, а с тобой сурово поговорил. Ты плакал.

— Товарищ капитан, как я без нее жить буду? Я ведь не балованный, верный, мне без нее никак нельзя.

— Успокойся, солдат, не ты первый, не ты последний. Хочешь, признаюсь тебе, что у меня месяц назад жена тоже замуж вышла, я ее в Ташкент отправил войну пересидеть, а она нашла какого-то торгаша, прислала извинения, и на том точка. У тебя дети есть?

— Не было.

— А у меня двое, мальчик и девочка. Ну что мне теперь, стреляться? А родину защищать кто будет? Торгаши? Нет, брат, выкинь все из головы, нам с тобой еще до Берлина топать, так что спрячь глубоко в душу свои переживания, а то на первую же пулю налетит. Она слабых ищет.

Ты хорошо усвоил наказ командира, про Фроську и вообще про деревенскую мирную жизнь старался не думать, все вроде наладилось. А тут еще старшина предложил заняться кухней. С первого дня ты понял, что это тебе ближе, душевнее, мирное, домашнее занятие, и вроде война уже в стороне, а рядом знакомо горит костер или топится кухня, совсем как дома на двоерубе или на покосе.

Время к весне, ты взялся вывозить снег из ограды, а то начнет таять — и вся вода в погреб, а то и в подполье упадет. Нашел под сараем широкие санки, специально отец делал, чтобы воду в бочках и снег возить, выволок заваленный всяким хламом короб, его еще дед Максим плел, прут к пруту, хоть воду заливай, не вытечет. Широкой снеговой лопатой начал складывать от самого пригона, вывозил на огород, так было заведено, чтобы снег растаял и землю напалит, тогда меньше придется в жаркий июль таскать воду с Гумнов и поливать посаженные овощи, больше всего огурцы. А капуста-водохлебка — в конце картофельного огорода, у межи, под самой Гумняхой, ее там и заливают прямо ведрами. Недолго и поробил, кто-то окликнул через заплот, ты лопату в снег воткнул, откинул калитку. Колхозный бригадир Митя Хитромудрый вышел из кошечки. Митя на фронте быстро отстрадал, добыл какую-то бумажку, признали негодным и вернули руководить колхозным производством. Что за болезнь у Мити — никто не знал; правда, время от времени его кидало на землю, трясло, и слюной брызгал в разные стороны, но всегда прилюдно. Мужики в такую болезнь не верили, а ты верил, потому что насмотрелся в госпиталях всяких. Поздоровались.

— Ты, Лавруша, от труда освобожденный, про то я знаю, но ходячий, сам собой вроде ничего. Короче говоря, надо за овечками походить. Заболела Устинья Васильевна, а сейчас окот, глаз да глаз, жить надо в кошаре, а не только что. Лошадь тебе дам, сани, трудодень.

Ты усмехнулся про трудодень, еще до войны писали в тетрадки учетчики, а по осени на эти палочки и выдать нечего было. И сейчас ничего не изменилось. Мать ходит за телятишками, кормить нечем, месячному теленку солому пихают. Мать хоть и тихая, а высказала со слезами районному начальнику в хромовых сапогах, что у председателя выше крыши наметано лесное едовое сено, вот его бы телятам — враз ожили бы. А то колхозные задрищутся, председатель своих сам съест, а для плана опять ничего не останется. И почему мать так обеспокоила сдача мяса государству, ты тогда понять не мог, она вечером объяснила, что братовья твои за границами чем питаются? Тем, что мы пошлем, немцы и венгерцы кормить не будут, а если и сунут что, то обязательно отравят. Вот погляди, какие суждения у неграмотной бабы.

Утром ее вызвал председатель, он не наш, присланный откуда-то, высокий, толстый, гимнастерка под ремнем и значок какой-то на груди.

Долго молча смотрел, так и не признал, не видел раньше, потому что на ферме не бывал:

— Вот что, дорогая, ты высказывания против руководства не делай, я тут хозяин, ко мне и приходи, если что. Еще раз узнаю, что поклеп водишь на мое сено, выпру из колхоза. Все. Работай.

Ты посмотрел на Митю:

— Овечек-то много?

— Три сотни.

— Молодняк гинет?

— Мрут, если просмотрели. Холод в кошаре.

— Холода овечка не боится, ей сухость надо и корма.

— Овса даю по случаю окота.

— Эх, Митрий Матвеич, до окота надо было давать, ты же должен знать!

— Откуль? У нас до колхоза только коровенка и была.

Ты хотел сказать, что видел, сколько скота гоняют на водопой на Гумна его ребятишки, но не стал. В его дворе, мать сказывала, числится все от тещи, от брата с сестрой — неимущих, вот он и не облагается налогами за излишки.

— Твои-то овечки нормально окотились?

— Слушай, по двойне все. Удачный год. Так пойдешь?

Ты ответил, что с матерью посоветуешься и, если согласится, то вечером на управу придешь на овчарню. Мать отговаривать не стала, мол, думай сам, как тебе здоровье позволит, только сказала еще, что работающего могут и пенсии лишить.

— Пуцай, мне ягушек жалко, зачем они мерзнуть будут?

В овчарне стоял сплошной овечий крик, отара кидалась из одного угла в другой, давя молодняк и суягных маток. Кое-как приглядевшись, ты увидел человека, несущего в куфайке двух малышей.

— Здравствуй, не разберу кто.

— Здоров будь, Лаврик. Не узнал? Савосиха я, соседка ваша. А ты как сюда?

— Бригадир послал. Холодно тут.

— Не успеваю ничего. Ты бери солому, в углу свалена, пройди вдоль стен, позатыкай, что можно.

Сколько охапок натаскал — со счёту сбился, сквозняка не стало. Сходил с веревкой на сеновал, искал сена помельче, три вязанки притащил, овечки накинудись. В нетопленной избушке нашла тетка Савосиха мешок овса, то ли утащить не успели, то ли получили, да никто не сказал. Лаврик расчистил от соломы середину, рассыпали овес по кругу, разом овечки замолчали, жуют, хрумкают. Несколькими жердями отгородили угол с подветренной стороны, отбили суягных. В избушке печь разожгли, котел снега набили, натаяли воды, дождались, пока согрется. Ведром носили в маленькие колоды, некоторые овечки пили.

— Лаврик, надо малышей собрать в избушку, пусть погреваются.

— А как потом они матерей найдут?

Савосиха выпрямилась, разогнула спину и в первый раз засмеялась: — Мать-то? Да с разбегу! Кто же мать свою или ребенка не признает? Разве что человек, а скотина, она еще не забыла, что ей природой дано.

— Ну, чисто наш дедушка Максим судишь, — удивился ты. А она ответила:

— Лавруша, родно мое, твой дедушка Максим отцом мне доводится,

да никто не знает про то. Прокопий-то Александрович маму в положении взял, перед алтарем просил назвать, кто наследил, так и не сказала. Он, правда, голубил меня, как свою, а мне мама только на смертном одре призналась.

— Отчего же дед не женился на ней?

— Ваши-то в видных людях были, а мы бедненькие, робить некому, вот и запретил. А дед твой, мама сказывала, сильно страдал, на исповеди слезьми плачет, а батюшке не признается, тот епитимьями мучил, даже от причастия отлучал, но отец не признался. Мне говорил потом, как маму схоронили, что не хотел ее чернить. Люди-то ведь так ничего и не знают, и не всякий способен подняться, чтобы постигнуть. Вот всю жизнь друг дружку любили, а жили порознь. А в деревне — оборони Бог на язык попать — в петлю вгонят.

Всю ночь топили избушку, таскали суягных маток и малышей, утром председатель приехал, написал бумажку, чтобы со склада отпускали по центнеру отходов в день. Да и солнышко обогрело, ветер стих.

— Ты, Лавруша, пойдй домой, поспи, а я тут прикорну. Придешь к вечеру.

А ты только хлеба взял да картошки кошелку, опять на овчарню пошел. Какая странная и загадочная жизнь, никто и сегодня не знает, что Савосиха тетка мне родная доводится. Прожила с отцом своим рядом, а ни разу даже тятей не назвала, не знала даже, что отец. Вот ведь как! А теперь и мне легче будет жить, еще одна родная душа рядом появилась.

— Тетка Савосиха, вот ты давеча говорила про деревню, что народ такой, и в петлю вгонят — не останвятся. Почему же так? Вот мы в семье ровно жили, ну, не сказать, что душа в душу, но особенно при дедушке Максиме — порядочек был. Мать, и сестер своих, и братьевьев почитаю. А деревня — она разве не семья? Вот случись, как в старые годы, да ты знашь, когда большая вода пришла, как люди дружно спасались, пособляли друг дружке, тем и выжили. И дома потом совместно стали перетаскивать выше в гору. А случись — будет ли так?

Савосиха села на жердочку у яслей, с сожалением на тебя посмотрела. Что ей так бедно за тебя стало? Аж слезы на глазах.

— Лавруша, ты чисто твой дед, вот одно к одному. Лицом, правда, в бабу, она красавица была, да тебе, мужику, такого добра и не надо бы. Парень ты славный, толковый, угодливый, тяжело тебе будет на белом свете.

— Отчего тяжело, тетка Савосиха?

Она долго молчала, согрешившиеся овечки похрумкивали ячменем, такая благодать разлилась по твоей душе, что ты не удержался:

— А ведь Господь вот в такой же овчарне, в хлеву, вот в таких яслях народился. Ведь правда?

Савосиха кивнула:

— Так писано, только, сынок, случилось это, слава Богу, задолго до колхозов, да и в другой стороне, где и холодов-то не бывает. В наших краях он закоченел бы к утру, когда волхвы пришли с дарами. Да и не те мы люди сегодня, чтобы Господа принимать.

— Не те — почему?

— Лаврик, ты меня пытаешь, а я не знаю, о чем. Почему люди меняются все время к худшему? Ты про большую воду говорил. Отвечу: случись сейчас — никто бы не стал друг дружке помогать, каждый свое пощадит.

Почему ты вдруг вспомнил, как завязывалась колхозная жизнь? Поздним вечером в дом пришел дядя Савелий Гиричев, родной брат мамы. Он и раньше бывал у вас, тебя крестил, крестный отец, а при новой власти вернулся с гражданской красным командиром, большевиком. Отец тоже воевал на германской, только в красные не пошел, а в последний поход из дома мобилизовали к Колчаку. Из-под Омска они сбежали чуть не всей деревней, чубов им порвали, но никого не посадили. А в соседних деревнях, говорили, человека по три забрали и насовсем, то ли к стенкам, то ли где леса до сих пор валят. Ты уже помнишь те зимние вечера, когда родственники сидели за одним столом, пили самогонку из одной кринки и спорили. Ты лежал на полатах за занавеской.

— Паша, я тебя всегда почитал за умного и толкового, как же ты не понял советской власти и отвернулся? Тебя революция где захватила? Ты пошто винтовку после замирения бросил и вернулся домой? Почему не выслушал большевиков и не перешел к ним?

— Объясню, Сава, все по порядку. Ты хоть и секретарь партячейки, но вдумчиво слушай. Войной я к тому времени был сытый по самое не могу, а тут замирение и свобода. Куда должен стремиться нормальный мужик? К семье, домой. А большевики — скажу тебе честно, Сава, я их не различал, вот те крест. Там кого только не было, кроме большевиков. Вот тупая Рассея, те мужики, которы земли не имели и робили на каког-то помещика, те твоим большевикам «уря» кричали. А как они могли меня землей заманить, если у меня ее волю, сколь могу, столь и пашу? Ну, скажи, мог разумный сибиряк сказать: «Спасибо, товарищ большевичок, что разрешил мне на своей земле пахать и сеять!» Не мог. И я понял, что с этими ребятами нам не сговориться.

Савелий Платонович слушал нервно, несколько раз посыкался остановить кума, но договорить дал.

— Ладно, советская власть тебе, как и другим заблудшим, измену простила, и что с Колчаком связались, тоже сделала вид, что ничего такого... Но седни ты видишь перемены, мы разворачиваемся к новой жизни, народ избирает советы, в партию люди вступают, а ты в углу сидишь, как сыч. Я только тебе скажу, потому как родство и уважаю. Будет еще одна кампания, от которой тебе не укрыться безразличием. Будем создавать колхозы.

— Чего-то слышал.

— Слышал он! Да это еще одна революция, только в деревне. Ты посмотри, мы с тобой за столом сидим, мясо с картохой, сало соленое шматками, хлеб серый добрый. Поди, и сеянка есть? Есть в сусеке? А страна голодает. Почему?

— Потому что не робит, Сава. Вот перестань я каждый день во двор выходить и со своими ребятами и девками со скотиной управляться, назем складывать, сено наматывать, воду возить чаном — через неделю скотина на колени падет, а потом сдохнет. И я стану голодный. Пролетарием стану. Чтобы жить, Сава, надо робить, ты же крестьянин, ты же все понимать должен.

Савелий возмутился, встал над столом с полным стаканом:

— Ишь ты! А пролетарий? У него же ничего в руках! Заводы в разрухе, угля нет, железа нет. Чтобы это все запустить, нужно время и нужны огромные усилия!

— Сава, советска власть рулит уж столько лет, сколь же еще надо время, чтобы до верхов дошло, что надо не пашкой махать, а молотом? Не

выбуривай на меня, я правду говорю. И что мужики в двадцать первом поднялись, тоже ваша заслуга. Мыслимое дело — в мой амбар загнать чувашей моим же кулем зерно выгребать? Жалко, конечно, ребят, что с той, что с другой стороны, тыщи погинули ни за что, только это вина власти.

Савелий сел, в упор глянул на своего родственника:

— Паша, тогда столица без прокорма оставалась, товарищ Ленин голодал вместе со всеми. Ты чего лыбишься, ты чего ухмыльнулся? Не веришь?

Отец засмеялся:

— Конечно, не верю. Я по своим вождям посмотрю, по мелким — эта порода себя в расход не пустит, мимо рта не пронесет. Насчет народа еще посмотрят... Я вот своим умишком кумекаю: на Россию-то им насрать, прости Господи, не за столом сказано, у них интересы поболее будут. Разграбят Россию и нас сдадут германцам или англичанам.

Савелий снисходительно улыбнулся:

— Какие интересы, Павел Максимович, об чем ты? Для Ленина Россия — это все. А по хлебу — в самое дыхло бьешь. Но ведь не было в двадцать первом году другого пути, кроме как взять хлеб у сибирского мужика и накормить город, пролетариат.

Отец сильно ударил по столу, блюдо с капустой и алюминиевые чашки с мясом и салом подпрыгнули:

— Ладно, а пролетариат в это время чем занимался? Марксизму изучал? Почему надо сразу в морду? Разве нельзя было договориться по-доброму? Мы тогда предлагали на сходах: хлеб дадим, но дайте нам железо, мануфактуру, плуг, карасин. Обмен сделать, я тебе, ты мне. Что, пошла на это власть? Мы кой-какой хлеб увезли на пункты, и что? В самых больших кабинетах в Ишиме нас на хрен посылали. Ничего нам на тот хлеб не дали, не пошли на обмен, хлеб даже в зачет налога не записали! И теперь то же самое. Я сплю стоя, вся семья с апреля по октябрь в поле, да до Рождества на гумнах снопы молотим. Скажи, всякий так? Да нет, не скажешь. В твоей партячейке есть хоть один порядочный хозяин? Нету! И не будет! И тогда вы пойдете зорить наши гнезда, нас врагами объявите. А иначе у советской власти ничего не получится, только на разоренном самостоятельном крестьянине будете создавать свои колхозы.

Савелий икнул и подытожил:

— Значит, в колхоз ты не пойдешь?

— А зачем, Сава? Чтобы видеть, как моих коней громят, как моих коров бьют кольем? Не пойду.

Савелий поднял указательный палец:

— Но ведь все заберем.

Отец не понял:

— Все — это как?

Савелий пояснил кратко:

— Скот, это ты правильно сказал, инвентарь весь, землю. Двор пустой останется. Дом у тебя большой, учтут власти, что семья большая, возможно, оставят. Вот и все.

— А меня куда?

Савелий Платонович напрягся, жилы вздулись поперек лба:

— Вот за этим я к тебе и пришел. Будет проводиться раскулачивание, ты попал в списки, хотя работников никогда не держал, все своей семьей. Могут судом сослать на Север или на Урал.

Отец встал и картинно поклонился куму:

— Любо! Ну, кум, спасибо!

Тот взмахом руки осадил его:

— Вот что, Павел Максимович, я не просто так с тобой этот разговор веду. Мы с тобой кумовья и больше того — товарищи. Потому все открываю, хотя права такого не имею и поступаю против партийности. Но учитываю, что ты труженик честный, будешь и колхозу полезный, беру грех на душу. В самое короткое время скот сбудь, что есть доброе из хозяйства — сбудь. Бери твердой валютой, только золотом. Хоть товарищ Ленин и писал, что мы туалеты будем золотом обивать или деньгами обклеивать, до этого, похоже, еще далеко. Зерно сбудь, не тяни. Чтобы ничего лишнего не было. Для вида бычка заколи, пару баранов, да свози на поганный дня три кряду, чтобы народ видел, мол, дохнет скотина. Обратно ночью, чтоб ни одна душа. Я тебя из списков постараюсь выдернуть, на очередной ячейке мои доверенные люди тебя защитят. А в колхоз вступишь, то мое условие. Ссылка, Паша, это верная гибель, насколько знаю, другие последствия даже не рассматриваются.

Ты на полатах все слышал и ничего не понял, только когда тятя голову уронил на грудь — и тяжелые слезины стекли на рубаху, ты испугался и накрылся дедушкиным тулупом. Стало страшно и пусто. Ты запомнил новое слово: колхоз.

Утром прибежала исполнитель из сельсовета, молодая усталая женщина, не проходя в передний угол, сунула матери бумажку и велела расписаться.

— Лавруша, черкни там, что надо, — шепнула она и с бумажкой пошла в горницу, где на божничке лежали ее очки, в которых она шила или читала газету.

— Мама, давай я прочитаю, пока ты найдешь.

— Уже нашла, да и бумага эта вроде как мне. «Гражданке Акимушкиной А.И. предписывается незамедлительно прибыть в райотдел милиции для очной ставки с гражданином, выдающим себя за Акимушкина Филиппа Павловича, 1912 года рождения, самовольно оставившего воинскую часть во время боевых действий в сентябре 1941 года и скрывавшегося от государственных органов до 28 декабря 1947 года».

Она села на кровать, руки тряслись, бумажка вывалилась на пол, ты поднял ее и еще раз прочитал. На душе стало светло и радостно:

— Мама, не плачь, не расстраивайся, Филя сдался властям, он столь лет отмучился, ему зачтется, и люди простят, мне капитан говорил.

Мама не сразу тебя услышала, а услышав, не сразу поняла:

— Какой капитан, Лаврик, ты кому сказал про Филю?

Ах, как ты был раздосадован, что она не может понять главного: Филя вышел к людям, он раскается, и будет прощен, и станет жить вместе с нами, помогать, а мы потом женим его. Он смотрел в глаза матери и вместо радости видел в них ужас, мертвый, застывший, холодный.

— Лавруша, ты кому сказал про Филю? Вспомни, кому ты сказал, кто пытал из тебя эту тайну?

Ты уже начал сердиться, что мама привязалась к такому пустяку, кому сказал.

— Мама, успокойся, мы говорили с хорошим человеком, он сразу согласился со мной, что с Филей надо хорошо поговорить, еще можно его спасти, и у него есть такой человек. Видно, они съездили на Бугровской кордон и уговорили Филю.

Мать почему-то встала, повернулась к иконам в углу и тихо сказала: — Господи, прости ему, он не знает, что творит.

Тебя это напугало, ведь мать точно говорит про тебя. Что ты не так сделал? Да нет же, все так и должно быть, надо только ехать, подтвердить, что это брательник, и, может, даже забрать его домой. Ты, видимо, сказал это вслух, потому что мама велела быстро собираться, взять дедов тулуп и бежать в сельсовет. Анна Ивановна поднялась наверх, ты остался внизу у крутой лестницы.

Сельсоветский конюх Пантюхин по кличке Гальян, щуплый и невысокого роста, уже запряг в широкие сани карего мерина.

— Ты тоже поедешь? — спросил он.

— Поеду, брат все-таки.

Мать вышла в слезах, всю дорогу ехали молча. Гальян подвернул к милиции, примотнул вожжи к коновязи:

— Идите к дежурному, я тут буду.

Мать показала бумажку, дежурный кого-то крикнул, вышел молодой человек в форме, кивнул Анне Ивановне, чтобы шла за ним, ты тоже вроде собрался, но хозяин осадил:

— Не требуется.

Почему тебе вдруг стало весело, вроде и организация серьезная, и никто вокруг не улыбается, а у тебя на душе петухи поют. Вспомнил, как с Филей ездили в тайгу шишку кедровую бить. Филя дома такую колодушку соорудил, что Лаврик поднять едва мог.

— Будешь сам колотить, а я только собирать, — так ты ему сказал.

Филя смеется:

— Шибко пристану — тебе передам, а то ты так и будешь на девушку похож.

Лето было жаркое. Дед Максим сказал:

— Шишка нынче раньше созрела и сухая, так что желубить будете на месте. Дробилку привяжи, да мешков поболее прихвати. На все вам три дни, чтоб не спали и не гулеванили. Филька, я поклажу проверю, чтоб без самогонки. Хлеба подходят, днями жать начнем, так что к субботе ждем.

Лошадь запрягли добрую, харчей мать положила хорошую корзину: и мясо вяленое, и мясо соленое с салом, сала копченого шмат, кошелку сырых яиц, каральку колбасы, выменянную у петропавловских киргизов, еще лук, огурцы, помидоры, чеснок, пять буханок хлеба.

— Ну ты, Анна, чисто на прииски отправляешь, им жрать некогда будет, пускай работают.

Выехали рано утром и к обеду были в тайге, она началась неожиданно, высунув широкий язык елей и сосен.

— Тут и до кедровников рукой подать, — весело сказал Филя. — Мы с тобой сперва в татарскую деревню заедем, там аул рядом и хороший мой знакомый. Я шишку сам давно не бью, у татарина покупаю. Как смотришь?

Ты смиренно ответил:

— Не знаю. Ты за старшего, решай; только если без орехов вернемся, я деду не смогу врать.

Брат хохотнул:

— Молодец, Лаврик, за что тебя уважаю — за честность. Другого такого дурака во всей волости или сельсовете не найти. Но ты не тужи, будут нам и игрища, будут и орехи. Я ведь тоже не лыком шит. Все, приехали.

Становились около невысокого дома, стоящего в сотне метров от деревни, рубленого из красного дерева и крытого колотыми досками. Хозяйственные постройки окружали дом с трех сторон. Старый татарин вышел к гостям, долго щурился и смотрел на Филю. Потом вынул изо рта трубку:

— Филька, кажись? Давно не был. Айда в дом. Здравствуй, пожалуй.

— И ты здравствуй, старый Естай. Где твоя молодежь?

— Побежали тайгу, орех колотить. Ты за орех чем платить станешь?

Привез?

Филя позвал старика к телеге и выволок из-под передка одетую в куфайку куклу, положил на телегу, развернул:

— Полная бадейка самогона, сам бы пил, да орехи надо.

— Обожди, джигит, давай пока сидим, пьем и едим, а к вечеру молодняк придет, сам смотришь товар.

Филя тебе подмигнул:

— У него три девки не замужем, мы тебе сегодня и свадьбу сыграем.

А орехов они нам отборных нагрузят, не переживай, трое суток свободной жизни — это подарок судьбы. Я бы эти орехи каждый месяц колотить ездил.

Перед закатом солнца верхом на низеньких лошадках вернулись молодые — два безбородых еще подростка и три девицы, спрыгнули с лошадей, с каждой сняли по два мешка на перевязях, коней отпустили, парни подошли к гостям. Филя командовал:

— Дорогой Естай, это мой меньший брат Лаврентий, но проще — Ларя, Лаврик. Ребят я помню, ты Газис, ты Рустем. А дочерей-красавиц назови сам, кроме Айгуль, она у меня в сердце живет.

Отец крикнул что-то по-татарски, девушки сняли платки с лица и встали, как учили, чуть потупив взор. Ты даже ошалел от такой красоты, три красавицы в просторных шароварах и пестрых халатах сверху, лица круглые, чистые, волосы черные, прянь смоль, глаза хоть и узкие, но острые, губки пухленькие, груди высокие лезут из халатов.

— Айгуль, старшая дочь, лунный цветок по-вашему. Потом Калима, средняя, а младшая дочка Ляйсан, это как дождик весной, она как раз в апреле родилась, первый дождь был.

Ты не сводил глаз с Ляйсан, такая красивая. Отец еще что-то долго говорил сыновьям и дочерям, и они быстро разошлись исполнять его приказы. Сели за низенький столик прямо у дома, за домом всхлипнул баран, в стороне на костре стоял тяжелый казан с водой. Айгуль принесла мелко порезанное вяленое мясо, Филя вынул из корзины все, что можно, кроме свиного мяса и сала. Рустем сходил в дом за кружками, всем мужчинам налили самогонки из бадейки. Естай сотворил свою молитву, Лаврик спросил:

— А девчонки выпьют с нами?

Естай ответил:

— Когда время придет, подойдут и выпьют, у девок работы много.

Ты повеселел от выпитой самогонки, пошел к девчонкам, они запе-реглядывались, улыбались. Лица умытые, волосы причесаны, чистые халаты надеты и шаровар уже нет.

— Вы почему в такую жару в штанах ходите?

Девчонки переглянулись:

— А в чем надо ходить девушке у вас?

— В платье, в юбке с кофтой.

Девчонки засмеялись:

— Все равно мало, под юбкой что-то есть.

Тебя развеселил самогон, сделал смелым:

— Вот чудные! Нет же теперь на вас тех штанов!

Калима что-то шепнула Айгуль, та засмеялась, передала Ляйсан. Какой красивый смех, чистый, свободный, душевный. Над чем они смеются? Что ты такого сказал?

Калима улыbnулась:

— Лаврик, мы готовим пищу, потому ушли и сняли старые одежды, поливали друг дружку, потом вытирались сухо, потом можно надеть только халат.

Ты не унимался:

— А что вы готовите?

Ляйсан подошла к нему, долго смотрела в глаза с улыбкой, потом сказала:

— Бешбармак будет. Ты пил шурпу? А бешбармак ел?

— Когда? — засмеялся ты. — Я и татарок первый раз вижу.

Айгуль была всех смелей:

— Ой, Лаврик, тогда скажи, красивые татарочки, правда?

Ты задохнулся:

— Истинная правда! Вы такие славные, что плакать хочется от вашей красоты.

— А тебе кто из нас больше понравилась? — с улыбкой спросила Айгуль.

Тебе никого не хотелось обижать, но ты уже смотрел на Ляйсан и улыбался.

— Ляйсан тебе больше по нраву? Тогда ты с ней сегодня будешь целоваться.

— Как это? — испугался ты.

— Ты умеешь целоваться с девушками? Будешь Ляйсан учить. Она у нас самая скромная.

Ты возразил серьезно:

— Нельзя же так просто целоваться. А отец? А если братья узнают? У нас с этим строго.

— А у нас нет, — беззаботно хохотнула Айгуль. — Правда, Калима? Давай поцелуем Лаврика.

Ты ничего не успел сообразить, как две девушки крепко обняли тебя и по очереди целовали в губы, прижимая к грудям. Смеясь, они поправили одежды и оставили Лаврика в покое. Он от стыда убежал за угол дома, увидел бадью с водой, сполоснул раскрасневшееся лицо. Даже не заметил, как подошла Ляйсан:

— Обидели тебя сестры? — Она заботливо вытерла его лицо, подняв полу своего халата и оголив стройную смуглую ногу. — Надо же им поиграть. С татарскими парнями так нельзя, плохое слово говорят, а целоваться хочется.

— Ляйсан, а у тебя есть жених?

— Ты сегодня мой жених.

— Да нет, я спрашиваю по-серьезному. Сколько тебе лет?

— Семнадцать. Раньше все было понятно, был калым, был жених. Теперь все смешалось, татарки за русских замуж выходят, в соседней деревне парень русскую привел. А ты разве не хочешь побыть моим женихом?

Ты опять растерялся и сказал:

— Пойдем туда, поужинаем, потом решим.

— Подожди. — Девушка взяла твое лицо в руки и посмотрела в глаза. — Какой ты чистый и красивый, Лаврик. — И крепко впилась в твои губы, упираясь тугими грудями и нежно поводя ими. — Все, теперь пойдем.

Когда они вернулись, бешбармак был готов, полные пиалы горячей шурпы стояли перед каждым, Естай разрешил налить всем.

— Сегодня у меня праздник, приехали мои русские друзья, пусть эта вода веселит нас до утра.

Пили самогонку и пили шурпу, горстями ели жирное молодое мясо. Газис принес маленькую татарскую гармонь, заиграл незнакомую мелодию, сестры в спокойном и медленном танце прошли несколько кругов по поляне. Взошла луна. Отец попросил, и Рустем спел жалобную песню. Старик прослезился. Ляйсан наклонилась к твоему уху:

— Это любимая песня мамы, она умерла год назад. Я уйду вон в те сосны, когда отец прикажет подать чай. И ты туда приходи.

Ляйсан сидела спиной к толстому дереву на обширной и толстой кошме. Ты осторожно сел рядом. Девушка наклонилась к твоему плечу, потом положила головку на грудь. Оба молчали. Волосы Ляйсан пахли лесной травой, ты уже без стеснения поцеловал ее глаза, щеки, губы. Ни одним движением не ответила девушка.

— Тебе не нравится, как я тебя целую?

— Шибко нравится, потому молчу, притихла. Вся ночь наша, я тоже тебя буду целовать. Я сниму свои одежды, так заведено было нашими предками, чтобы женщина входила к мужчине нагой и чистой.

Ты снял рубашку и штаны, сдернул кальсоны. Ляйсан спустила с плеч халат и, поднявшись на цыпочки, повесила его на нижний сучок. Как она красива, голая, на фоне полной луны! Вы обнялись и долго лежали, чувствуя каждый стук сердца, каждый вдох, всякое движение мышцы. Ляйсан чуть приподнималась и целовала твое тело, никем не тронутое, пугливое. Ты выскользнул из легких объятий и принялся выскидывать самые щекотливые ее места, Ляйсан вздрагивала всем телом, шептала:

— Грудь, сладкий, грудь... Живот... Я сойду с ума. Пупок шевельни языком, еще, сладкий... — Потом поймала его голову: — Все, дальше не надо пока.

Ты запыхался, словно сено метал или дрова рубил, нашарил свою рубаху, вытер лицо.

Ляйсан улыбнулась:

— Устал, сладкий мой. Отдохни. Я тоже сердце свое найти не могу.

— Скажи, Ляйсан, почему нельзя, ты же сама меня позвала?

— Разве тебе плохо со мной целоваться? Или ты хочешь, чтобы я впустила тебя? Я тоже хочу, только боюсь. Ты ласкай меня, целуй, как хочешь, только пока не проси меня всю.

...Кто-то грубым пинком ударил тебя в ноги, в большие отцовские пимы, видение исчезло, не стало Ляйсан, теплого вечера, мягкой кошмы.

Пожилой милиционер сказал громко:

— Вставай, пошли.

Мать стояла у запертой двери того кабинета, в который уходила вместе с офицером. Ты быстро пришел в себя:

— Мама, виделись вы с Филей?

— Виделись, — за маму ответил милиционер. — Пошли, и ты повидашься.

Он повел тебя коридором во двор, потом в амбар, откинул незащелкнутый замок и распахнул дверь. Филя лежал на спине, сложив на груди руки, и спал. Нет, как он может спать на таком морозе? Хотел сказать милиционеру, но тот опередил:

— Загоняйте свою упряжку в ограду и забирайте.

Ты поймал его за полу шинели и все хотел отругать, что бросили брата на холодном полу, пока тот не ухватил тебя за шапку:

— Ты контуженый или как? Убит твой брат. Матери следователь все объяснил.

— Меня правда контузило, ты меня за голову не шибко хватай, там местами черепа нет.

— В Бога мать! — выругался милиционер. — Ну и семейка! Один дезертир, та онемела и столбом стоит, этот дуру гонит! Убили твоего брата, при аресте побежал, вот при попытке стрельнули.

Ты понял. Они его просто убили. Они не говорить с ним приехали, а убить. Как же ты упустил, почему не настоял, что с ними поедешь? Стоял и думал.

Гальян подъехал к самому амбару, толкнул в плечо:

— Айда, поможешь вытащить.

Вы подняли тяжелое тело Фили и положили на дровни.

Гальян крикнул милиционеру:

— Дай кусок мешковины, хоть прикрыть его.

— Ага, сейчас, на вас мешковины не напасешься. Буду я на дезертира казенное имущество тратить.

Филю накрыли дедушкиным тулупом, выехали со двора, офицер в накинутах шинели придерживал мать, подвел ее к саням. Мать почернела, рот скривился, она пыталась что-то сказать. Ты кинулся к ней, а она вытянула руки и не допустила. Пробормотала невнятно:

— Сгинь с глаз моих, христопродавец! Уйди, чтобы я тебя больше не видела.

Ты все слова разобрал, только понять не мог, куда ему идти и что делать?

— Не хочет она, чтобы ты с братом ехал, — пояснил Гальян. — Мне конюх ихний рассказал, что ты навел на Филю, он сам возил троих, и команда им была живым не брать, а ухлопать на месте, чтобы не возиться да народ не злить. Матери все и рассказали. Ты заночуй здесь, пешком не ходи, волки шастают по ночам. А утричком, можа, кто из наших приедет. Все, тронулись мы, лошадь покойника чует, гужи рвет.

Все смешалось: мертвый Филя, убитая горем мать, прятанный глаза Гальян, уехавшая подвода и он один в районном центре, в котором не только ночевать негде — здесь он вообще никого не знает.

Пошел в сторону больницы, может, пустят перекапываться в тепле, он уж бывал тут на проверках. В полутемном коридоре осмотрелся, подошел к регистратуре, вечер, никого нет, только женщина в белом халате пишет бумагу. Она подняла на тебя глаза и долго смотрела, улыбаясь:

— Лавруша Акимушкин, ты ли это?

Лицо знакомое, а признать не можешь.

— Лавруша, я — бывшая матушка Полина.

Ты смутился, но поздравствовался.

— А что так поздно в больницу? Приема уже нет.

Было неловко признаваться, но пришлось.

— В тепло хотел попроситься, мне ночевать негде, а домой пешком далеко, да и волки, мне сказали.

Полина вышла из-за перегородки, вроде поправилась с того времени, с лица гладкая и веселая, как тогда.

— Я помогу твоему горю, Лавруша. У меня переночуешь. Не бойся, батюшку отправили на Урал, неведомо, выпустят ли. А мы домик успели купить, так что живу пока одна. Пойдешь?

Ты кивнул.

— Вот и славно. Я через пять минут соберусь.

В домике чисто и тепло. Хозяйка разделась, осталась в юбке и кофте, такой ты ее никогда не видел. Ушла в спальню, вышла в рабочем, вместе принесли воды в баню, дров, развели огонь. В доме она поставила самовар, достала бутылку водки, налила по маленькому стаканчику. Выпили, чокнувшись без слов.

— Сколько лет прошло, Лавруша? Ты хоть все помнишь? Опять покраснел! Лаврик, я тебя только на шесть лет старше, зови меня Полиной. Дрова нес в баню — ничего не вспомнил?

Ты ответил, что вспомнил, и даже на фронте вспоминал.

— До чего же ты мне нравился, Лаврик! Просто полюбила тебя, да батюшка был больно суров. Ты женатый? Отчего нет?

— Бросила, пока в госпиталях был.

— Куда же тебя ранило? Руки-ноги целы. В голову? Ты шапочку-то сними, ведь тепло. Да, легко отделался. Когда вернулся, снова принял ее?

Пришлось все рассказать. Полина сняла с горячей плиты чугунок и жаровню, убрала на край, чтобы не пригорело. Достала из сундука кальсоны и рубаху, большую желтую простыню:

— Иди в баню, там уже все готово. На каменку сам бросишь, сколько надо. Белье батюшки, чуть великовато, но оно чистое, проутюженное. Иди, я потом быстро обмоюсь, и ужинать будем.

Пока Полина была в бане, ты осмотрелся: в спальне широкая кровать, в комнате конопель деревянная резная, вот тут она мне и постель кинет. Полина вернулась из бани разгоряченная, в просторном халате, быстро переделась в халатик ситцевый, голову повязала платочком — красивая, молодая, крепкая. Опять Фроська вспомнилась, поди, такая же стала.

— Выпей, Лавруша, если здоровье позволяет, и поешь, а я на тебя посмотрю. Уж больно ты мне молодость напоминаешь. Детей у нас нет, сколь не старались, живу вот теперь — и не попадая, а мужики сторонятся. Хочу замуж выйти, Лаврик, не сыщешь мне муженька?

Чуть было не брякнул, что за Филю можно было бы пойти, да вовремя вспомнил длинный сегодняшний день. Подумал, что про горе свое рассказывать не надо.

Полина убрала со стола, вынесла из спальни постель, уложила на конопели. Ты разделся и лег в незнакомую чистоту, весь страшный день закурился перед глазами, сон навалился тяжелый и мутный. Очнулся оттого, что женщина стояла на коленях перед постелью и целовала твое лицо.

— Лавруша, пойдем на ту кровать, тут тебе неловко.

Ты проспал долго, умылся, прибрал свою постель, Полина пришла на обед. Обняла тебя, поцеловала:

— Спасибо тебе, Лавруша, за любовь да за ласки, я об них столько лет мечтала. Только вижу, не мила я тебе. Кто там, в деревне, тебе люб, скажи? Жена?

Ты помялся:

— Не знаю, можа, и она, но как простить? Я побегу, может, уеду с кем.

— Иди, только не забывай, наведывайся, я ждать буду. Вот как все странно в жизни, никогда бы не подумала, а не могу забыть сопливого парнишку и твои ласки неумелые.

Она поцеловала тебя, как ребенка, в лоб и проводила до ворот.

Эшелон с новобранцами на запад шел ходко, встречные и посторонившиеся приветствовали его длинными жалобными гудками. Ты лежал на средней полке, мешок с подорожниками под головой, водку и самогон с ребятами не пил, отец, когда сам на фронт уходил, знал, что тебя тоже призовут, не велел выпивать: пьяный человек не смелый, это только кажется, он осторожность теряет и делается беззаботным. Такого сразу словят снайперы, если затишье, или пулеметом срежут в атаке. Тут тебе думалось хорошо. Вот попал в школу связистов, телефоны, кабели, узлы-скрутки. Это, значит, бегать тебе по России, искать порывы в проводах, скручивать, иначе командиры такой разнос устроят! И под дождем, и под обстрелом, а всего тошней — через минное поле. Это говорили те, кто уже успел хлебнуть и возвращался на войну по второму кругу. Пару раз показали вам класс дивизионного узла связи, вот тут красота, тепло, прежде всего, чисто, и от войны чуть в стороне. Но командир группы успокоил: это не для вас, на узлы связи специально девушек готовят, во-первых, непустишь их в чистое поле, жалко, а во-вторых, каждому командиру при штабе охота иметь несколько красивых девушек.

Взводом связи командовал лейтенант Есмуканов, красивый молодой казах. Тебя вызвал первым, проверил документы, задал несколько вопросов. Спросил:

— Ты на линии когда-нибудь был?

— Нет, не бывал.

— Тогда сходишь на порыв несколько раз с кем-то из взвода, посмотришь. Ты откуда родом?

— Из-под Ишима, деревня Афонина.

— Так мы с тобой земляки, я из Петропавловска.

Ты обрадовался: знаю такой, только не бывал.

— После войны приезжай, я тебя маханом угощу и бешбармаком.

— Бешбармак я ел. За шишкой кедровой ездили к татарам, там угощали. И девчонки у них шибко красивые.

— Эх, Акимушкин, дорогой ты мой, нет на свете красивее наших казашек, когда они лучшие наряды наденут, когда танцевать пойдут. — И засмеялся. — Русские девушки тоже красивые, правда?

— Я на русской женился, а ту татарочку до сих пор помню. Поди, уж взамуж выдали, она сирота, только с отцом жили, их три сестры.

Лейтенант расстегнул воротничок гимнастерки, вытер затекшую шею.

— Запомни, солдат, разговоры о женщинах расслабляют воина, а связист всегда должен быть начеку. Ладно, сегодня устраивайся, отдыхай, завтра скажу старшине, чтобы тебя сводили на линию.

Так и начал привыкать, сперва вдвоем ходили, потом одного отправили, велели точно определить причину повреждения. Ты шел кустами вдоль провода на снегу и вспоминал: осколочное или пулевое попадание, порыв животным, упавшим деревом, зверь может перегрызть, даже

мышь, но страшнее всего, если кабель перерезан ножом и унесен. Приходит разведчик, подключится к линии, послушает, какое она имеет значение, разрежет и на себя смотает с километр. Вот тогда беда. Надо второй конец найти, а это верная встреча с диверсантом или разведчиком. В таких случаях в основном и гибли ребята. Порыв найдет, подключится, сообщит своим, что пошел конец искать, и все. С той стороны тоже связистов отправляют, бывало, что и оба терялись, зарежут и снегом забросят. А командование связь требует. Тоже служба не из веселых. А ты еще думать любил на ходу, вспоминать приятное. Пришлось отвыкать, и глаз все видит, и уши слышат. Нашел порыв, надставил запасным кабелем — и домой.

Дело к весне шло, хотя ночами такие холода заворачивали, что в Сибири проще крещенские перенести, чем эту морозную сырость. А тут на вашем участке фашист начал постреливать из орудий и минометов. Ребята удивляются: ничего в нашем направлении для противника интересного нет, и чего он диканится — не понятно. А он третий день то мины покидает, то из орудия подолбит. Ребята уж привыкать начали, а связистам беда, рвет связь, сволочь, то прямое попадание, то дерево свалится. В ночь и в полночь поднимают:

— Акимушкин, нет связи с третьим батальоном.

Только там скрутил — порыв на линии связи со штабом дивизии. Вздонный сам проводил с километр, предупредил, чтобы аккуратней, дивизия все-таки. Где бегом с проводом в руках, где ползком, если что-то почудилось, добрался до порыва. Так и есть, осколком снаряда срезало. Зачистил концы, скрутил провод, подключил свой аппарат.

— «Орел», «Орел», ответ «Синице», ало!

— «Синица», я «Орел», связь принята, — ответил приятный девичий голос.

— Какой ты орел, милая, ты синичка и есть. Шлю тебе привет из глубокого сугроба.

— Спасибо, только за нештатные разговоры «синичке» хвостик вытерпят.

— Какая беда? Кто нас слышит? Тебя как зовут?

— Айгуль.

— Красивое имя. Я знал одну девушку, ее так звали...

— Все, связь принята. — И отключилась.

Ты понял, что кто-то из начальства подошел. Погрустил, вспомнил татарочку Ляйсан, самую лучшую ночь в жизни, отзвонил своим, что связь налажена, и подался своим следом в сторону расположения.

Когда отоспался, пошел к командиру, спросил про имя Айгуль.

— Откуда ты его взял? — улыбнулся командир. — Мою невесту так зовут, приедешь, познакомлю.

Рассказал про телефонный разговор, про своих знакомых татарочек, одна из которых — Айгуль. Не та ли знакомая?

Командир тебя огорчил:

— Ты знаешь, Акимушкин, Айгуль у тюркских народов очень распространенное имя, как Маша у вас, так что она может быть из Киргизии, из Казахстана, даже из Азербайджана с Башкирией. Ты же знаешь, что все народы поднялись на защиту Отечества.

Ты вздохнул:

— Жалко, а я уж было подумал, что это наша Айгуль.

Командир обнял солдата:

— Все они наши, Акимушкин.

Три дня прошли как обычно, а утром прибежал дежурный телефонист:

— Акимушкин, пропала связь со штабом дивизии, а комдив как раз говорил с нашим комбатом. Ты эту линию знаешь, давай поскорей. Комбата я на штаб вывел через второй батальон, но прямую обеспечить. Да, они крикнули, что тоже выслали связиста.

Ты осторожно шел на лыжах по неглубокому снегу, то и дело выдерживая из-под наста кабель связи. Яркое солнце светило в спину и согревало. Тянуло в дрему, но нельзя, если порыв на нашей половине, а найдет ихний связист, ослабая на всю дивизию. Такие случаи были. К обеду прошагал километров пять, все нормально. В лесу впереди мелькнул человек, ты присел, посмотрел в бинокль — никого. Надо осторожно, если фашист, то на полянке он тебя шлепнет без горя. Ждать? А если он тоже залег? Так и будем лежать до потемок? А связь? Комбат спасибо не скажет. Но фигура мелькнула еще раз, и солдатик — наш русский, советский — выкатился на поляну. Ты из укрытия крикнул:

— Стой! Кто такой?

— Рядовая роты связи Тайшенова.

— Ты не Айгуль, случайно?

— Нет. А ты как знаешь Айгуль?

— По телефону с ней говорил, когда связь дал.

— Ты на порыв идешь?

— Иду. А вот и конец моего провода.

— И я свой нашла, уже нарастила, сейчас скрутим.

Он вышел из укрытия, она тоже пошла навстречу. Ты так и не вспомнишь, о чем думал в ту минуту. Наверно, о чем-то радостном, душевном, что вот и связь нашлась, сейчас доложим, как положено, поговорим. Подошли близко, она первая остановилась, ты это увидел и поднял глаза. Перед тобой стояла Ляйсан. Ты не мог в это поверить, да и откуда здесь, посреди войны, появилась эта тоненькая татарочка с длинными косами и веселыми узкими глазами в потрепанной одежде солдата, в шапке, с автоматом за спиной? Ты даже подумал, что надо постоять, и это пройдет. Но голос, голос не дал тебе на это время:

— Лавруша, Лаврик, это ты?

— Я. А ты, Ляйсан, как тут оказалась?

— Лаврик, сладкий, родной мой!

Она обняла его, они неуклюжи были с аппаратами связи, с мотками провода, с оружием. Все побросали на снег, целовали друг друга и плакали от счастья. Ляйсан вперед одумалась:

— Лаврик, связь!

Быстро зачистили провода, доложили каждый своему начальству, и снова обнялись.

— Ты как попала на фронт?

Ляйсан повела его к лесу, присели на упавшую березу.

— Я все тебя ждала, думала, вспомнишь свою татарочку, а потом Филя твой с друзьями к нам приезжал гулеванить, он и сказал, что ты женился. Я так плакала, так горевала. Потом война началась. Отец говорил, что война пришла на нашу землю, надо воевать, братья сразу ушли, а потом отец поехал в район, договорился, и нас, трех сестер, отправили в одну команду, так отец просил. Мы с сентября служим, и Айгуль, и Калима, и я.

Что-то тебя кольнуло, знал ты про положение девчонок при штабах.

— Ляйсан, милая, домогаются до тебя офицеры?

— Нет, сладкий мой, я верна тебе, когда мы в распоряжение прибыли, я пошла в санчасть, золотой перстень татарский старинный врачу положила на стол и попросила, чтобы пометку сделал в моих документах, что... ну, вроде есть у меня болезнь, и мужикам лучше подальше держаться.

— Да как же ты догадалась до такого?

— А что делать? Нас еще в школе предупредили, что судьба у всех одна. Вот я и придумала. А сестры... Их большие командиры к себе взяли, они легко служат, а я вот на линии.

Ты обнял ее, называл милой и дорогой, умницей называл, целовал в холодные губы. Она смеялась красиво и весело, как тогда.

— Я попрошу Айгуль, чтобы она вызвала тебя на узел связи штаба. Я так хочу тебя всего обнять, Лавруша, чтоб ты весь был мой, без остатка. Женой хочу тебе стать, женщиной. На войне все по-другому видишь, и любовь к тебе я тоже вижу совсем другую, и дети у нас будут, много детей, и дом, и кони добрые. Я тебя буду на руках носить, потому что ты ребенок, а я в тайге выросла, я сильная.

Простились и разошлись в разные стороны. Не успел ты и трех километров пройти, как с нашей стороны началась сильная артиллерийская стрельба, похожая на артподготовку, и навстречу тебе выскочил лейтенант Есмуканов:

— Акимушкин, возвращайся, опять связи нет, а через час атака. Комбат под трибунал грозил сдать, если связь с дивизией не восстановим. Их связиста тоже должны вернуть. Действуй!

Ты побежал обратно, даже обрадовался, что еще раз увидишь Ляйсан, скоро выскочил на знакомую поляну, пробежал редкий лес, извороченный взрывами, выскочил на опушку и увидел Ляйсан, это точно она, но почему она лежит? Сбросил с себя провода и автомат, упал перед ней на колени, хотел повернуть на спину, но все тело смялось, истерзанное осколками, вот и свежая воронка рядом. Посиневшие маленькие ручки у самого онемевшего рта, застывшие, окровавленные, и провода оголенные — задубевшую изоляцию белоснежными зубками срывала ты с проводов, так в руках и остались. Видно, не хватило сил, поняла девочка, что умирает, и стиснула провода в зубах, сжатых предсмертной судорогой. Боже, как ты кричал, как проклинал всех, кто открыл эту войну, кто послал сюда эту девочку, кто направил в ее сторону последний снаряд. Чуть придя в себя, вынул изо рта Ляйсан концы проводов, скрутил их и подключил аппарат:

— Алло, узел, связь восстановлена.

— Кто там вмешался? Алло! Кто на линии? Не мешайте, я уже полчаса пользуюсь связью.

Ты волком раненым взвыл, зверем диким, нечеловеком. Светлая Ляйсан, через твои тонкие и сладкие губы, через зубки твои жемчужные, через чистое непорочное твое тело отдавались команды, летели матерки, угрозы, обещания наград и расстрелов. Вытирал лицо Ляйсан горячим снегом, целовал ее ледяные губы. Милая, сладкая девочка, разве для того ты была создана, чтобы в последние минуты жизни дать связь какому-то штабу, пусть даже столь высокому и для очень важного стратегического разговора? Какое тебе дело до них, Ляйсан, будь они все прокляты! Белым стало, как у невесты на честной свадьбе, твое смуглое татарское ли-

чику, всю кровь свою ты отдала русской матушке сырой земле, себе не оставила ни капли.

Ты не помнишь, сколько сидел около Ляйсан, потом поднял ее на руки, снова опустил, снял с нее бушлат, валенки, чтобы легче было нести, и пошел к своим. Тебя встретили забеспокоившиеся ребята, переняли скорбный груз и доставили в батальон.

Тебя в горячке увели в медсанбат, из дивизии на подводе приехали ребята, забрали тело девочки и сказали, что прошел слух, к большой награде представят погибшую.

В медсанбате уколы ставили, давали снотворное, разные сны тебе виделись, больше все счастливые, радостные, с любовью, со смехом. Мать говорила, что нельзя во сне смеяться, это к горю. Ты просыпался, вспоминал мамины предосторожности и понимал, что большего горя, чем сегодняшнее, от которого болит только душа и ничто больше, у тебя уже не будет. Раза два приходил доктор, суровый, черный и кудрявый, как черт, давил на брюхо, крутил голову, велел приседать. Ты все делал исправно, тебе все равно.

— Я вас хочу спросить, молодой человек, не стыдно протирать простыни в санчасти, когда на фронте героически гибнут молодые девушки, вот недавно героически замерзла в снегах представитель славного татарского народа... как ее, забыл фамилию.

— Это Ляйсан, — подсказал ты и пошел в каптерку спрашивать свое обмундирование.

В батальон вернулся после обеда, ребята встретили спокойно, лейтенант Есмуканов подошел и обнял.

— Вечером будем деревню брать, ты пока полежи в землянке, слаб еще.

Ты пошел к старшине и сказал, что лейтенант велел выдать автомат, три рожка патронов и гранаты. Старшина выдал. Ты почистил оружие, переделся в чистое белье. Судя по тому, что до деревни три километра и ее ни разу не пытались взять, а сегодня вдруг решились, что-то изменилось, и бой будет серьезный. Вместе со всеми лежал в окопе и ждал сигнала. Команда была тихой, но конкретной:

— Вперед!

Стрелять и кричать запрещено, надежда на внезапность. Успели добежать до середины, а там ведь тоже не дурачки сидят. Пустили ракету, вдарили из пулеметов, солдата сразу тянет ближе к матушке сырой земле, но сзади — приказ:

— Не залегать, всех перебеют, брать штурмом.

Стали брать штурмом — значит, бежать, пока добежишь, если не убьют или ранят. Ты бежал в полный рост и не стрелял, потому что не видел цели. А вот обозначился пулемет, брызжет в темноте коротким рыжим огнем. Ты привстал на колена, прицелился и дал очередь. Пулемет замолк, ты опять побежал. Уже замечались человеческие фигурки в просветах между домами, да тут еще наши пушки ударили зажигательными, пожар осветил немцев, деваться им некуда. Только это уже не вояки, это солдатики команды ждут к отходу. Ты выскочил на бугор, кто-то крикнул:

— Лаврик, падай, ты охренел — во весь рост!

А ты бежал, и дыханье не сбилось, и руки не дрожат. Стрелял в каждого, даже в тех, кто руки поднял, стрелял метко, зло, без промахов, еще

два рожка у своих убитых выхватил. И когда из-за сарая трое наших вывели до десятка фашистов, ты поднял руку с гранатой и крикнул своим:

— Ложись, братцы, Богом прошу!

Гранату невзведенную откинул, а по толпе полоснул слева направо и обратно. Подбежал, своих перепуганных увидел:

— Вы бы, ребята, бежали вперед, там сейчас медали будут раздавать.

И тут же тремя выстрелами добил раненых фашистов. Бросил автомат, сел на снег и заплакал:

— По тебе, сладкая моя татарочка, устроил я поминки. И дальше буду бить гадов, где только увижу.

Подбежал лейтенант Есмуканов:

— Акимушкин, я тебе велел в землянке сидеть!

— Все, командир, отсидел в землянке — и по проводам, как кобель на цепи, больше бегать не буду. В штурмовую роту пойду, давить буду их, как клопов. Спасибо тебе, Есмуканов, но больше ты мне не командир.

Ты не знал, только много позже рассказали тебе, чего стоило Есмуканову отбить тебя от особистов. Все-таки кто-то стукнул, что ты расстрелял пленных, а своих убитых есть statistics, тем более, если есть желание.

Когда все улеглось, решило командование тебя прославить. В роту приехал на «виллисе» корреспондент дивизионной газеты, расспрашивал, как ты связистку Тайшенову нашел, как нес ее к своим, а ты не мог говорить. Только сегодня утром, выйдя из землянки, посмотрел ты на чужое, хоть и советское небо — не такие тут звезды, не их вы видели с Ляйсан. Знал уже, что сегодня сорок дней прошло после смерти, не знал только, есть ли у татар сороковины. Вспомнил молитву «Отче наш», проговорил ее тихому небу, попрощался с душой Ляйсан, которая сегодня обретет отведенное ей место в раю. Это должно быть почетное место: чиста душой, и телом, и помыслами пришла к Богу эта девушка. Бог видит ее изорванные осколками живот и груди, которые кроме тебя не ласкал никто, а потом велит ангелам исцелить ее и провести в самые лучшие места, чтоб похожи были на ее родные. И кусочек тайги с кедровыми орехами, и молодой березняк, и низкая луговина трав для вольных коней, которые сами будут подходить к ней и падать на колени, чтобы она села и проехала хоть чуть-чуть.

— Э, товарищ Акимушкин, очнитесь. Расскажите, где вы родились, как работали в колхозе. Эту газету мы направим к вам на родину.

Ты мог бы рассказать ему, что колхоз назывался «Красная поляна», недалеко от Акимушкиных избышек срубили крестовой бригадный дом, там и жили всю посевную и уборочную. Почти как в старые годы. Уже перед войной поставили тебя прицепщиком на плуг к Тольке Брезгину и направили на ваши родовые наделы пахать. Остановился Толька на обочине, велел заглубить плуг на сколько-то сантиметров, помочился на грязную гусеницу и дал газ. В конце гона ты дернул проволоку, это сигнал, Толька остановился. Ты прошел вдоль борозды, вспомнил слова деда Максима:

— Это твоя борозда на твоей земле. А если на чужого дядю робить, то никакой радости, одна усталость.

— Натолей, вот мы первую борозду проложили, в радость это тебе?

Брезгин затоптал окурки и сплюнул:

— Ты меня за этим остановил? Какая радость, дурак, если нам к утру надо десять гектаров сдать?

— Обожди, я добегаю до колодца, водицы зачерпну.

— Нету колодца, мы осенесь туда всю требуху лосиную побросали, чтоб не нашел никто. Лосей бить запретили, а мы грохнули, он утром на зерно вышел.

Ты пошел в сторону избушек, Анатолий матерился и грозился сплугать с плуга, а ты не мог остановиться, так давно не был в родных местах, что до душевной боли захотелось. Избушку, почти домик, кто-то разобрал и увез, навес и загоны завалились, все заросло бурьяном. Подошел Анатолий:

— Вот ты — наглядный пример, Лаврик, как частная собственность делает человека рабом. Что ты сопли распустил: родная земля, первая борозда. Да пропади оно все пропадом! Мне наряд закроют в гектарах мягкой пахоты, остальное я видел знаешь где? Я жилы из себя буду рвать, потому что завтра нас ждет светлое будущее. Это Маркс так учил.

— Кто такой Маркс? Он пахал и сеял?

Анатолий хохотнул:

— Он, брат, такие семена по миру разбросал, что скоро всем частным капиталистам тошно будет. Вот я — чистый пролетарий, и отец мой никогда этими глупостями не страдал: избушки, колодцы. Он шкуры скупал и киргизам перепродавал. Пил. И я пил, пока за глотку не взяли. Я из этого трактора за весну все выжму, а осенью мне новый дадут, потому что советская власть об рядовом человеке заботится. Потому я свободный человек, а ты раб.

— Подожди. Отец и дед мои кто были?

— Кулаки, рабы собственности. Всем известно: не Савелий бы Гиричев — рубил бы ты сейчас уголек на Урале... Ладно, пошли пахать.

Рассказать можно, но он не напишет.

— Акимушкин, а сколько вы фрицев убили лично? Сейчас рекомендовано вести персональный учет, для награждения.

Акимушкин посмотрел на паренька: явно городской, из грамотеев, жизни не видел. Сколько убил? Да разве можно вести счет? Да, мы их не звали, они сами пришли, но считать трупы?

— Не могу ответить, товарищ младший политрук. Стреляешь — в кого попадешь.

Корреспондент статейку все-таки написал, газета пришла в батальон, на роту дали несколько штук. На фотографии Лаврик был больше похож на колхозного пастуха, если бы не пилотка со звездой. Через три дня его вызвали в штаб дивизии. Кто, зачем — никто не знает, телефонуисту передали без дополнительных сведений.

В штабе доложил дежурному, тот куда-то сбегал, потом приказал идти за ним. Перед входом в блиндаж остановился:

— Заходи и доложи по всей форме.

Ты вошел, увидел сидевшего за столом високого и полного офицера, доложил. Офицер поднял глаза:

— Лаврик, подойди сюда, я в ногу ранен, мне встать трудно.

Ты испугался и обрадовался:

— Крестный Савелий Платонович, здравствуй.

Офицер протянул руку.

— Здравствуй, крестник. Но это последний раз, впредь обращайся по званию — при людях, конечно. Так, что у тебя дома? Как мама, жена, дети?

Что ему ответить, если сам ничего не знает?

— Детей нет, жена и мать живы, тятю убили под Москвой. Братовья воюют где-то, мать адреса дала, только ответов нет.

Офицер кивнул:

— Да, между фронтами письма идут через Москву, долго. Как сам? Говорят, отличился? Орден еще не получил?

Ты смутился:

— Нет, но воюю, не прячусь.

Крестный кивнул:

— За это и пригласил тебя, если бы прятался — не стал бы мараться. Меня из района в Свердловск взяли, поучился, направили парторгом на завод, потом обком партии, потом война, вот, политработник. Скажи, Лаврик, у тебя есть ко мне личные просьбы? Только быстро, через пять минут военный совет.

— Есть просьба. На узле связи служат Тайшеновы, мне бы с ними повидаться. Товарищ комиссар, поддержите их, они сестру потеряли, нельзя, чтобы и они погибли.

Савелий Платонович поднял трубку и дал команду прислать к нему в кабинет Тайшеновых, с трудом поднялся, обнял крестника и вышел.

Ты сам открыл дверь перед перепуганными девчонками.

— Не бойтесь, мы одни.

Они обнялись и долго стояли молча.

— Айгуль, Калима, мне Ляйсан все рассказала. Покажите мне ее могилку. Я сказал комиссару, чтобы помог вам, если нужно.

Девчонки удивились:

— Ты его знаешь?

— Это мой дядя, крестный.

— Он суровый, — сказала Калима.

— Нет, справедливый, — поправила Айгуль.

Вы постояли у холмика со звездой на опушке леса. Ты не мог плакать. Девчонки тоже уже все выплакали. Ты насмелился и спросил:

— Звездочка — это ничего?

Девчонки кивнули:

— Аллах примет, он знал, что она солдат. Лаврик, она успела сказать тебе, что любила?

— Мы полчаса говорили, потом разошлись, а потом снова встретились, но она была уже...

В батальон тебя привезли на полutorке, чему все были крайне удивлены.

— Молодец, солдат! — сказал рядовой Гоголадзе. — Туда пешком, обратно на полutorке. Завтра уедет на «ЗИСе», а вернется на «мерседесе». Молодец!

Хорошо после боя, если остался живой. Ты привык к душевному одиночеству, в тебе уже не было сладких воспоминаний о жене, которые не давали спать в первые месяцы после призыва, ты уже совсем забыл жаркую и бесстыжую Полину, бывшую попадью. Рядом с тобой была только Ляйсан. Не мертвое изорванное тело помнил ты, не мерзлые тонкие губы, которые пытался отогреть, пытался вдохнуть в них тепло и жизнь. Ты видел ее под той сосной в бору, когда она, чистая и смелая, без стыда разделась перед молодым парнем. В эти минуты ты улетал с земли, находил ее в теплых воздушных просторах, вы обнимались, и не было никого в мире счастливее вас.

— Я знаю, Лаврик, ты подумал про меня плохое, грязное, подумал, что все татарки доступны, как молодые жеребушки в косяках, только знай: у каждой кобылицы есть свой жених, и другой не посмеет даже хвоста понюхать. Ты сразу так мне понравился, как родной джигит, которого долго ждала, мы бисера плетем, когда такие думы настигают, под бисера далеко улетишь. А ты пришел — не джигит, смелости нет, ловкости нет. А почему сразу на сердце пал? В твоих глазах я правду увидела про любовь и про жизнь. Помнишь, как сестры тебя целовали? Ты не думай, они не распутницы, они от жажды. Когда в тайге вместо знакомого родника находишь оплывшую яму, а потом целый день работаешь под солнцем, тогда бывает жажда.

— Сладкая Ляйсан, не обижай меня подозрениями, вся ночь та была как жизнь. Я тронуть тебя боялся, потому что чистоту видел в тебе такую, какой нет на земле, разве только в небесах у особо отличившихся святых дев. Как я мог к этому прикоснуться? Я всю тебя исцеловал, и руки, и животик, и ножки твои. А потом повернул на живот и спинку целовал во многих местах. Когда нес тебя к своим, все думал, что ошибка это, ты не убита, ты спишь у меня на руках до тех пор, пока Господь увидит наши страдания. И тогда вдохнет в тебя жизнь, даст кровь, поставит на резвые ножки, и побежишь ты по матушке нашей сырой земле. Я вот теперь часто думаю, зачем Бог поделил людей на татар и русских и веру разную дал? Проверить, наверно, хотел, сумеем мы жить мирно, или заест нас особливость своей нации. Вот возьми фашистов: вообще-то по нации они немцы, будь мы все однаки — не было бы пушек, бомб, войны этой страшной... Иди ко мне ближе, Ляйсан, мне так тепло от тебя.

...Ты просыпался обычно в самые сладкие минуты, когда душевная Ляйсан, прижавшись к тебе, щекотала волосатые подмышки, просыпался от храпа товарища или неловко поставленной кем-то на стол кружки, от далекого выстрела тоже. Тогда лежал, боясь пошевелиться, чтобы не спугнуть сладкое душевное виденье, в реальность которого ты верил без сомнений.

Ты часто стал думать, что если умереть сейчас, то можно встретить Ляйсан на небесах в райских куцах. Что это за кусты такие, поп никогда не объяснял, но рай расписывал так, как будто бывал там каждую неделю. Вот надо было расспросить его — или сам должен дорогу сыскать, или приведут ангелы дежурные. И затаилась в глубине сердца эта заноза: погибнуть героически — и навстречу любимой ввысь. Испуг от такой мысли вскоре прошел, но вера осталась: надо умереть героической смертью, как Ляйсан.

Немецкие танки прорвались на рассвете, смяли передний край, наши пока пушки разворачивали, а они уж — вот, у крыльца. Ты выдернул из-под нар тяжелый подсумок с гранатами и метнулся вперед, только прыгающие лучи танковых фар очередями били в лицо. Упал в воронку, выдернул чеку, а он уже рядом, клацает гусеницами. Ты только на мгновение высунулся — и тут же изо всех сил кинул тяжелую железяку. Свет фар метнулся в сторону, танк затих, потом заговорил несколькими головами, похожими на наши матерки. Ты не стал себя обнаруживать (пусть их добивают автоматчики) — а на тебя уже второй прет, и скорость такая, что смотреть некогда. Кинул сразу пару гранат — и на дно. Танк кружится на месте, стоны и крики. Потом с нашей стороны, ты это слышал, дали команду встречать танки на подходе. Бежавший к своим на помощь танк остановился, погасил фары. На разные голоса стали звать живых и ране-

ных. Ты высунулся, а он, сволочь, — далеко, не докинуть. Пришлось ползти, вгрызаясь в землю. Пару раз стрельнули, но это неудачу, так порядочный солдат не бьет. Прополз еще метров двадцать, вокруг стрельба вовсю, а у танка возня, своих грузят. Ну, ты и лупанул. Взрыва не видел, оглушенный, упал на родную землю и решил, что все, погиб рядовой Акимушкин геройской смертью.

Из той воронки выволокли тебя ребята, осмотрели: цел, только вид глуповатый, контузило малость. Какой-то офицер подбежал, руку жмет и обнимать тянется. А Гоголадзе ему три пальца показывает, мол, три танка уничтожил. То ли от пережитого, то ли от страху крутнулась голова, и пал солдат под ноги товарищей.

Новый ротный командир вызвал к себе в землянку и спрашивает прямо:

— Я, боец Акимушкин, человек сугубо гражданский, меня фашист заставил школьную указку поменять на каску, — сказал и улыбнулся. — Стихами уж с тобой заговорил. Ты мне жизнь свою обскажи, чтобы я понять мог, что ты за человек. Ну, давай признаемся, что героизма в тебе не должно быть, парень ты смирный, но воюешь исправно. А ведь родине ничего больше с тебя не требуется, ты же не маршал Жуков, чтобы каждую минуту решения принимать. Мы с тобой исполнители, сказали — сделали. А ты в одном месте нашумел так, что в дивизии разбирались, потом еще. Как понимать, что ты творишь, героизм это или хуже того?

— Чего-то не пойму я, товарищ лейтенант, героизм по какой статье в глупость попало?

— А по той, дорогой мой Акимушкин, что раз ты проскочил, второй раз с этими танками, а в третий раз тебя прихлопнут — и всех делов, еще одна звездочка на дощечку. Тебя что гонит на верную смерть? Ты можешь мне признаться, ведь я по годам в отцы тебе гожусь. Я так разумею, что ты после гибели своей подруги решил смерть искать. А нам солдаты нужны. Завтра скажу старшине, чтобы тебе подыскал работенку попроще.

Козырнул и вышел.

А с утра твоя жизнь круто изменилась, старшина подвел к повозке, на которой стоял немытый термос, показал коня, сбрую, выдал продукты для обеда. Вот тогда и появился чернявенький из батальона, вроде как подучить. И началась новая жизнь.

И все чаще возвращался ты в тот день, когда все для тебя закончилось: и служба, и редкие разговоры с татарочками, и поиск все новых сусличинных нор для жирного кондера, за который ребята хвалили начинающего повара. Говорливый Гоголадзе, отложив облизанный котелок и благородно икнув, подозвал тебя:

— Акимушкин, ты только живой останься, я тебя в лучший ресторан Тбилиси устрою шеф-поваром, будешь готовить чахохбили, цыпленка-табака, тушки перепелов, нашпигованных неизвестно чем, но все кушают и хвалят. Тебя будут приглашать знаменитые гости в зал, подносить тебе рог благороднейшего вина. А возможно, — Гоголадзе приподнялся на локте, — возможно, Акимушкин, сам товарищ Сталин зайдет в этот ресторан, и тогда охрана скажет: «Товарищ Сталин, готовить будет лучший повар Акимушкин». Товарищ Сталин спросит: «Не тот ли это Акимушкин, который один на три танка ходил?» Охрана ответит: «Тот самый, товарищ Сталин!» — «Тогда почему у него за этот подвиг только орден Красной Звезды? Замените эту звезду — на Золотую Звезду на колодочке».

Батальон валился от хохота, а ты мыл посуду и собирался готовить ужин.

Вот едешь ты в тот день к батальону, кондер готов, уже остывает. Душа твоя, видно, во время взрыва выскочила, чтобы не погибнуть, а тело — ну, что, на то оно и брэнное, что ему страдать. Вот только почему ты помнишь себя летящим, да высоко, да в такой благодатной атмосфере, что даже куфайка не шелохнется. И видишь ты с высоты изгибы рек, противотанковые рвы, отдельных солдатиков видишь, летящих рядом, наверное, туда же. А потом как будто ударило тебя, хорошо, что к этому времени душа вернулась, а то бы так без черепа и остался. Вот что это было? У кого спросить?

...В деревню добрался потемну, у первого встречного спросил, схоронили Филью или все еще дома. Сказали, что вроде яму долбили долго, не должны зарыть. Пошел домой. Народу почти не было, так, несколько старушенок, Филька лежал посреди горницы на себя не похожий. Мать увидела тебя в комнатных дверях, вскочила, сорвала с ноги пим и бросила тебе в лицо:

— Проклят ты матерью своей, пшел из дома, и ремки свои забери, вон, в углу в мешке.

Ты спорить не стал. Понятно, что не по-твоему вышло, не захотели эти люди подход к брату найти, а ведь обещали разговорчивого человека с собой взять. Им бы тебя взять, но там свои порядки. Вот и порешили Фильку. Вышел в улицу: куда пойти? Из родных никто не примет, раз мать прокляла. И увиделось тебе окошко, освещенное пламенем из русской печки. Кто тут жил — ты знал, а ведь Фрося единственный на земле человек из его жизни. Перелез через жердочки в воротцах, стукнул в дверь — не заперто, вошел, снял большую шапку, поклонился, поздравствовался.

Мужик, что лежал на кровати, с интересом сел и уставился на гостя. Баба в кути выглянула из-за занавески, потом было снова спряталась, но вышла, поклонилась.

— Это, Самуил Яковлевич, мой законный муж, Лаврентий Павлович. Мужик на кровати аж привстал:

— Даже так?

И тут же засуетился:

— Вы так удачно зашли, Лаврентий Павлович, как нельзя лучше удачно, потому что я утром уезжаю в Житомир, там уже собрались все наши, требуют мое присутствие. Потому квартира освобождается, можете ее занимать вместе с законной, так сказать, супругой.

Фрося с клюкой в руке подошла к тебе, дыша свежим тестом и разгоряченным телом:

— Уж ты прости меня, Лаврик, за мою измену. Хошь — в морду ударь, хошь — в ноги паду.

Ты остановил:

— Не надо.

Фрося удивилась?

— А как же? Чё, и бить не будешь?

Ты очнулся.

— Бить не умею, только убивать. А ты не бойсь. Я к тебе пришел совсем. Жить.

Фроська мигом оживилась:

— Тогда так, — скромновала она. — Последнюю ночь Самуил и на печке перекантуется, а тебя, мой дорогой муженек, я к стенке положу, чтоб не соскользнул. Ты разболокайся, мне осталось две булки вытащить Самуилу на подорожники.

Когда Фрося утром проснулась, Самуил уже ушел. В избе долго плескалась, подошла к кровати голая, раздобревшая:

— Лаврик, протри спину до сухоты, а то мерзнуть буду. Э, нет, ты меня не валяй, мне в совет бежать, это ты, лежа на спине, деньги получаешь. Пенсию твою я знаю, проживем, у меня жалованье какое-никакое.

Ушла, погасив лампу и напустив полную избу темноты. Ты вроде уже задремал, как вдруг увидел своего ротного командира, убитого в том бою, и тот спрашивает:

— Что же получается, Акимушкин, я на тебя как на человека надеялся, а ты покушать ребятам вовремя не сумел доставить. Ты накормил роту перед боем или нет?

У тебя сильно закружилась голова, но солдат обязан ответить. Ты до дрожи в теле напрягся, чтобы хоть часть памяти вернулась, просил себя, требовал, умолял: так накормил или нет? Что ответить себе и ротному? Ты вытянулся в кровати и шепотом доложил:

— Товарищ старший лейтенант, я же приготовил кашу с мясом и привез к позиции. А потом... Потом же вас всех поубило, я один остался.

— Подожди, боец, когда снаряд попал в кухню, тебя в повозке не было. Ты где был? Почему и тебя вместе с нами не убило?

Ты вытянулся и улыбнулся, будто командир мог увидеть твою улыбку:

— Я в это время летал, товарищ старший лейтенант.

— Как летал? — лениво спросил ротный.

— Высоко. Все видел — и бой, и разрывы, и как наши ребята пролетали рядом со мной.

— Акимушкин, ты мне сказки не рассказывай, ты мне ответь: ребята поели перед боем?

Теленок за печкой поскользнулся на влажной подстилке и стукнулся на коленки. Ты очнулся, голова болела, но ротный исчез.

В обед прибежала Фрося, радостная и раскрасневшаяся с мороза, сказала, что звонил из района новый секретарь райкома Гиричев и просил тебя, Лаврушу Акимушкина, завтра прибыть к десяти часам.

— Фроська, это же крестный мой, родной дядя!

— Лаврик, миленькой, поезжай, просись, чтоб перевез нас в район, тут с ума сойти можно!

Ты возмущился:

— Фрося, как можно просить переехать, а кто в колхозе останется? Нет, таких речей ты от меня не жди. А вот зачем я ему потребовался — в том вопрос.

Фрося за ночь перешила шерстяные брюки чеботаря, рубаху поубавила, пиджак подрезала и в спине на четверть вырезала. Ты наблюдал и удивлялся: все-таки здоровый мужик был этот Самуил.

— Фрось, здоровый мужик был этот Самуил. Что же ты с ним не собралась?

Фроська смачно плюнула на горячий утюг и с ожесточением стала разглаживать свежие швы:

— Лавруша, это штаны у него большие и пинжак широкий.

Она поставила утюг на кирпич и бросилась в распахнутую постель:

— А мужик ты у меня первый и единственный, и лучше не бывает. Я и бабам говорю: вот хоть и по второй группе, а не подумаешь, что инвалид.

Ровно в десять строгая женщина открыла ему высокую дверь в кабинет, и Савелий Платонович, прихрамывая, вышел из-за стола. Обнялись.

— Про горе и позор наш общий знаю, даже сам имел неприятности. Когда у полкового комиссара родной племянник оказывается дезертиром, хорошего мало. Спас Черняховский, он только принял армию и оказался в дивизии, когда дело рассматривалось. Попросил, полистал и разорвал. Вот такой был человек. Со мной побеседовал минут двадцать и забрал в политуправление армии... Как твое здоровье?

Ты хотел рассказать о странных видениях и снах вперемешку с действительностью, но испугался: если крестный заставит лечиться, то Ляйсан никогда не вернется в его сны.

— Военкомат получил несколько путевок на лечение в лучшие госпитали, если есть желание, я могу попросить, да ты и подходишь.

— Нет, крестный, не поеду. Я тебе объясню, ты умный и грамотный, ты поймешь. Вот есть жизнь, я роблю, хожу, вроде разговариваю, а внутри у меня другая жизнь, светлая, радостная, душа моя говорит с любимыми людьми, мы с ними встречаемся даже. Больше всего достал меня ротный наш командир. Я сам видел, как его разорвало осколками при первом снаряде, а он теперь допытываются, накормил я тогда ребят перед боем или нет. Ты помянишь ту татарочку Ляйсан, не подумай, что у нас что-то было такое, людское. А вот что-то все-таки случилось, потому что и она меня с первой встречи полюбила, и я ее тоже. Так не бывает у людей, я же слышал рассказы: как только добрался до девки — все, готова. А мы голыми лежали всю ночь рядом и летали в такие дали, в такую красоту, где рай, и цветы, и кони ходят. Она коней шибко любила. Очнемся, поцелуемся, обнимемся, и опять летим. Когда на фронте с ней встретились, она мне рассказала, что и без меня летала, как будто я рядом. Вот скажи, дядя, ведь и со мной такое же! Мы так радовались. А потом она погибла. Больше всего мне радости, когда она приходит, сколько счастья не бывает у людей, сколько у меня. Если бы она жива была, Господи! Ты ведь слышал, как она провода закусила?

— Это я знаю. На Тайшенову оформлено представление на звание Героя, но затерли где-то документы, сейчас по моей просьбе этим занимаются. И вот что еще хуже: у Тайшеновых все погибли, двое сыновей и три дочери.

— Я знал, видел, но надежда была, что те пули мимо пройдут.

— Это война, сынок. Старика Естая мы отправили в хорошую семью татарскую, он великий человек, мужественно все пережил. О тебе. В госпиталь ты обязательно поедешь, готовься, это через месяц-полтора. С женой сошелся? Правильно. Как мать? Знаю, что не общаетесь, но деревня же, все известно.

— Живет. Ей за отца пособию платят.

— Да, приедешь домой, передай Анне Ивановне, что Володя и Геннадий живы и здоровы, служат в Венгрии, к весне вернутся.

В плохом настроении вышел ты из райкома, у коновязи заметил старика, сильно похож на Естая. Подошел, присмотрелся: точно он!

— Здравствуй, дорогой Естай.

Старик вынул изо рта трубку:

— Лицом видел, чай пил, а кто — не помню.

— Лаврик я, до войны приезжали с братом Филькой за шишкой к вам, тогда все познакомились.

— Вот теперь все на местах. Воевал?

— Воевал. Ранило и комиссовали.

— У меня тоже всех комиссовали, дали бумажки. Я им сынов и дочерей, а мне коробочки с железками. Несправедливо! Но была война, сынок, каждый человек должен встать между войной и родиной, только так спасемся. Я плачу о детях и горжусь.

— Дядя Естай, мне сказали, что тебя отправили в хороший дом. Ты живешь там?

— Ушел. Чужой человек в доме, не гость, не хозяин. Сказал спасибо и ушел.

— А куда ушел-то?

— Домой собрался. Ты видел мой дом, там такое богатство, там могила жены, там дети мои ножками пошли по земле. Не могу оставить, вернуться.

— Да как же один-то?

— А ты? Я вижу, что глаза твои горят, как горели они в тот вечер, когда ты с Ляйсан в лес ушел. Разве не хочешь ты пойти жить со мной и работать там, где она родилась и целовала тебя? Не красней, она сама призналась, просила Аллаха, чтобы благословил ее любовь к православному.

Тебя колотила крупная дрожь, ты взмок, сбросил шапку.

— Да я ползком поползу к тому месту, где видел Ляйсан, только возьми. У меня жена есть, к ней съездим, согласится — возьмем, а нет — ее воля.

Подъехал татарин в хорошей кошевке, снял тулуп, обнял старика, пожал твою руку:

— Дорогой Естай, решение твое для меня закон, говорю по-русски, чтобы товарищ слышал. Весь твой скот, кони, упряжь — все прибрано и сохранено, как только обживешь дом, все пригоним, сена привезем, овса.

— Бейбул, этот парень наш, мне родной, жених был Ляйсан, захотел ко мне жить.

— Как решишь, дорогой. Поехали!

Знакомой дорогой ехали в тайгу, вот тут поворот, тут спуск к реке. Все как тогда, только девчонки уже не встретят озорным смехом. Лес начал темнеть: первый признак весны. Ты опять увидел тот казан над костром, в котором девчонки готовили мясо, увидел туесок кумыса, поднятый из колодца, увидел губы девчонок в белых каемочках кумыса — резкого, холодного, хмельного. Почему-то Ляйсан повела тебя к табунку молодняка, жеребята играли, бодая друг друга, терлись шеями, обнюхивались. Подожди, такого же не было, не ходили вы к молодняку! А потом одумался: не надо противиться, Ляйсан знает, что надо показать будущему хозяину. И пошел вслед за ней, только видел, что трава под ее босыми ножками не трепещет, не клонится, не мнется, а радуется, колышется во след, и цветки лесные, скромные, густыми горстями разросшиеся на некошеных палестинах, которые она обошла и не коснулась даже, нежно склоняли перед ней свои головки. Тебе страшновато стало одно время, уж больно похоже на жизнь, ведь хаживал он с Ляйсан, и травы мяли, и цветы видели, но только это не жизнь, это сказка. Знаешь, что нет Ляйсан среди живых, а видишь, любишься ею, и она, радостная, так и плывет над землей. Не скоро ты сообразил, что нету между вами разговора, хотел спросить Ляйсан, почему она молчит, но собственного голоса не слышал, испугался, хотел закричать громче, но Ляйсан приложила пальчик к губам. Ты заметил, что пальчик чистенький, не израненный, не изуродованный мелким осколком. Ляйсан улыбнулась, еще раз пальчик

к губкам, тобой целованным, приложила и погрозила. Ты понял, что надо молчать пока, она сама заговорит, когда можно будет.

— Худой сон смотрел, Лаврик? — спросил Естай.

Ты улыбнулся:

— Сон хороший, только непонятный.

Естай вынул трубку:

— Сны Всевышний дает человеку для размышления. Что видел — обдумывать надо за чашкой чая долго, потом понял, почему. Когда дочерей вижу, долго думаю, ночь, день. Хочу говорить с ними, но молчат, только плачут и жалеют меня.

Ты не удержался:

— Естай, и Ляйсан ты видел?

— Всех дочерей видел, а сынов нет. Батыр не должен нарушать покой отца, это они знают. А девчонки — их Аллах дает на радость. Горе тому человеку, который лишит отца этой радости.

Ты вылез из тулупа:

— Дядя Естай, Гитлер должен за все ответить, это он отнял девчонок.

Старик заворочался в своей шубе, покашлял:

— Перед кем ответить? Разве есть на небесах Бог, который примет его как сына своего? Аллах прогонит, Христос близко не пустит за христианскую кровь, Будда не простит преступника. Гитлер будет носиться по пустоте, искупая каждую каплю человеческой крови — русской, татарской, грузинской, еврейской...

— Приехали! — крикнул Бейбул, и Естай заплакал, скинув шубу, вылез из кошевки и встал на колени перед своим домом, когда-то полным жизни и счастья. Никто не тревожил его, Бейбул жестом остановил тебя, кинувшегося к старику.

— Он молится, не мешай.

Потом пошли в дом, разожгли большую печь, перенесли из кошевки мешки с продуктами, Бейбул подал тебе карабин:

— Будешь на охоту ходить, лося едва ли возьмешь, а козочек постреляешь. Татарин не умеет жить без мяса, это вы, русские, способны на картошке прозимовать, — усмехнулся Бейбул.

Тебе это не понравилось:

— Зачем ты так о русских? Ты на фронте был?

Бейбул улыбнулся:

— Не спрашивай, если не хочешь знать лишнего. Не был. И Естай не одобрял, когда он всех детей на гибель отправил. Это ваша война, ваша власть ее затеяла. Почему татарин, который уже столько веков не воюет, должен умирать за чужую власть? Вот это воистину наша земля, после Ермака наши князья выкупили ее и жили по своим законам. И дали клятву не воевать. Зачем я нарушу эту клятву предков?

Тебя затрясло, мысли путались в голове, но ты поймал главную:

— Ты не джигит, Бейбул, ты спрятался за тоненькие тела девчонок, они сгорели, а ты греешься у того костра.

Бейбул удивился:

— Ты посмотри, с виду дурак дураком, а как красиво судит. Ладно, Лаврик, обижать тебя не буду, только больше об этом не говори. Власти знают про меня все, у меня друзья от Тюмени до Омска, так что забудь.

На второй день поправляли загоны, завалившиеся без хозяина, а потом поехали за сеном. Три воза лесного, духмяного, мелколистного сена, такого, хоть чай заваривай. Дед Максим так и делал на сенокосе, выбирал из

рядков цветочки, былинки, мелко рвал руками, потому что железу никак нельзя к этому прикасаться, и заваривал в маленьком котелке. Ты прямо сейчас поймал этот запах, задохнулся, и слеза пробилась: как славно было житье, как спокойно и ровно. Разом все изломалось, никто и не понял, как.

Собравшись домой, Бейбул подошел к тебе крепким шагом:

— Не сердись на меня, Лаврик, если обидел — прости, я среди русских рос, а про войну — особый случай. Я не воевал, но это не значит, что прятался. Другие задачи были. А говорил так — тебя дразнил. Прости, брат.

Ты ухватился:

— Бейбул, какие задачи, скажи, чтобы я знал, а то мучиться буду, думать.

Бейбул усмехнулся:

— Я занимался формированием татарских воинских соединений. Тебя это устраивает?

— Ладно, ты приезжай к нам, старику скучно будет.

Бейбул засмеялся:

— Я ему завтра скот к вечеру пригоню, не сам, мои люди, так что скучать некогда. Прощай, Лаврик.

— Прощай, Бейбул.

В ту ночь ты долго не спал, ворочался в жарко натопленном доме на огромной перине, Естай сказал, что на ней девчонки спали. И, правда, ты принюхался и принял запах Ляйсан: так пахла ее волосы, ее подмышки, когда вы миловались на кошме под соснами. Запах становился все сильнее, сжимал горло, потом стало легко, и ты понял, что вырвался из объятий перины и поднялся над аулом. Только в кальсонах и рубаше, а тепло, и воздух теплый, и звуки теплые. Ты знал, что увидишь Ляйсан, она прилетит к тебе, чтобы обнять, улыбаться, помолчать. Тебе вдруг показалось, что сегодня Ляйсан скажет тебе что-нибудь, нельзя же все время молчать. И ведь тебе хочется столько ласковых слов сказать этой маленькой девочке. Ты уже всю ее незаметно осмотрел, нет нигде и следов ранений, чистая летающая девочка.

Они прилетели все три, в просторных белых балахонах, с распущенными черными волосами, обняли тебя и тихонько сказали:

— Здравствуй, Лаврик, здравствуй, наш родной.

Ты обрадовался и засмеялся:

— Девчонки, дорогие, как я рад, что вы пришли все вместе. Я знал, что сегодня будет что-то особое. Знал, что будем говорить с Ляйсан.

— Будем, любимый, и сестры знают, о чем. Ты тоскуешь на земле, но пока нельзя сюда, это мы узнали. Ты будешь жить с отцом, ничего не говори ему про нас, все, что надо, он знает. Привези сюда свою жену. Я не ревную, любимый, у настоящего татарина может быть много жен, и любить он их может, как его душа хочет. Привези. А потом мы встретимся, и ты все расскажешь.

Ляйсан поцеловала тебя в губы, и ты вдруг вспомнил кровавый холод ее разорванного рта и жемчужные зубки в страшном обрамлении. Проснулся в холодном поту, встал с постели, увидел стоящего на коленях Естай, он освещен был луной, глядевшей в окошко.

— Подойди сюда, сын мой, — позвал старик. — Встань со мной рядом, я молюсь перед Аллахом за души своих детей, Аллах говорит мне, что их души чисты и непорочны, они в раю. Молись и ты своему Христу, пусть он проследит, чтобы никто не нарушил покой моих девочек.

Ты сказал тихо:

— Я молю... Дядюшка Естай, можно, я буду звать тебя отцом?

Старик помолчал:

— Называй «Эти», сынок, это и будет отец. Мы с тобой давно породнились, пусть будет так во имя Аллаха!

Ты еще сомневался, как говорить с Естаем о Фросе, ведь Ляйсан просила не открывать их тайну. Потом насмелился:

— Дорогой Эти, отец мой названный, хочу просить твоего совета. У меня в деревне жена, мы обвенчаны, а живем врозь...

— Это нехорошо, — перебил Естай, — я сегодня хотел дать тебе хорошего коня и отправить в деревню. Привезешь жену, пусть будет семья, и пусть будут дети. Ляйсан не родила тебе сына, а мне внука, она не будет против, если твоя жена будет спать с тобой в ее постели.

Ты заплакал и уткнулся головой в колени названного отца:

— Благослови, Эти, я привезу Фросю.

Ехать пришлось на дрожках, потому что снег растаял, земля размякла, на дороге колеса врезались в песок. В деревне подвернул к избе тетки Савосихи. Та встретила в дверях, испуганно спросила:

— Лаврик, откуда у тебя такая добрая лошадь в дрогах? Говори, не мучай!

Ты не понял, почему она в расстройстве, ответил:

— Живу в татарском ауле рядом с деревней, вот хозяин дал Фросю привезти. Как тут она, не балуется без меня?

Савосиха высморкалась в фартук:

— То у нее спроси, мне делов мало за молодухами подсматривать. У матери не был? Не ходи. Она умом тронулась или как — не пойму, все по Филе плачет, отца не вспоминает даже. Ребятишек отпустили из армии, дак оне на производство устроились, увильнули от колхоза. Так матери написали. Тоже ревет. А тебя проклинат, черных слов откуда только берет. Ты не ходи. Если за Фроськой приехал, собирай ее и долой с глаз.

Подъехал к дому, вожжи примотнул к столбику, стукнул в дверь. Фрося выскочила в одной станухе, уж спать собралась, криком взялась:

— Лаврушенька, муж ты мой венчанный, а я уж думала, насовсем бросил меня.

Посадила на скамейку, сняла грязные кожаные казахские сапоги, измазанные в грязи поповские брюки, налила в большой таз теплой воды, заставила раздеться догола, поставила ногами в таз и нежно обмыла все тело. Тебе стало тепло и уютно, как бывает только дома. Сняла с горячей плиты сковородку с жареной картошкой, отрезала кусок хлеба. Села напротив и смотрела, как ты жадно ел: за весь день маковой росинки во рту не было. Потом положила на кровать к стенке, прижалась всем телом и заплакала:

— Лаврушенька, простил ли ты меня или только вид издалел? Я места не избираю, все думаю, что бросишь, а как пропал совсем, так и решила, что из-за меня.

Ты слушал ее спокойно, гладил рукой по голове:

— Забудь про то думать, тем паче, что новая жизнь у нас впереди.

И рассказал все про Естая, про знакомство с ним через Филю, про случайную встречу в районе и неделю жизни в его доме. Про девчонок и Ляйсан решил пока помолчать, минута не та.

— За тобой приехал, собирай свои манатки, избу заколотим — и утичком в дорогу. Там все хозяйство на старике. И тебе работа будет, ко-

ровы есть, кобылы должны скоро ожеребиться, кумыс научисься делать. Там славно, Фрося, и для души покой. Ты поймешь, ты у меня не глупая.

Еще ничего не понимая, Фрося соглашалась, чуть свет связала в узлы свои пожитки, больше ничего ты ей брать не велел, все есть в доме Эти. Выехали уже на свету, люди видели и лошадь, и дрожки, и Фросю, сидящую рядом с мужем. На два дня деревне обсудать хватит.

В большом доме к приезду молодых Естай сделал перегородку, там осталась широкая низенькая кровать девчонок, на которой ты уже спал, сундук для вещей. Старик вышел навстречу приехавшим, и вы оба встали перед ним на колени.

— Встаньте, дети мои, я принимаю вас как родных, других никого нет. Идите в дом, располагайтесь, а мы, Лаврентий, заколем баранчика по такому случаю.

Мясо старик варил сам, подозвав Фросю: учись, это будет твоя работа. Фрося трепетно снимала пену с кипящего мяса, отодвигала из-под казана большие угли, чтобы убавить жар. Естай сидел рядом, курил трубку, давал советы. Мясо получилось сочное, мягкое и жирное. Старик долго молился, потом сели за стол.

— Фрося, ты, как и Лаврентий, зови меня Эти, что значит отец. Кушайте мясо и благодарите Всевышнего, что он дает нам такие дары.

Фрося присмирела, после ужина вымыла посуду, постоянно дергая тебя: где взять воды, куда вылить помой. Когда легли в постель, тебя окатила горячая волна: на постели Ляйсан я рядом с Фросей. Закружилась голова, ты старался не думать об этом, но мозг уже ухватился за такую зацепку и не давал покоя.

Фрося придвинулась к нему, спросила:

— Ты чо такой мокрый? Да у тебя жар! Обожди, я принесу холодной воды.

А ты уже провалился в пустоту, которая всегда принимала тебя радостно и почти весело. Но сейчас навстречу опять вышел убитый в последнем бою ротный и сурово спросил, накормил ты солдат перед смертью, или голодными они ушли на тот свет?

— Товарищ командир, меня самого ударило, не могу доложить по правде, кушали ребята или так и ушли, не жравши. Не пытайте вы меня, товарищ старший лейтенант, больше ничего не знаю.

— Еще скажи мне, Акимушкин, коль ты на белом свете, скажи, одолели наши фашистов или напрасно приняла нас матушка сыра земля?

— Одолели, товарищ командир, и всем нашим скажите, что одолели, и земля наша свободная от врагов.

Очнулся, Фрося обтирала твое тело настоем каких-то трав, сказала, что Эти принес. Через минуту снова забылся и опять легко поднялся в теплую и спокойную пустоту. Ты парил, поднимался и опускался, затаив дыхание, и ждал Ляйсан. Она все в том же просторном балахоне тихонько обняла тебя сзади и поцеловала в шею, как тогда под сосной. Ты хихикнул, так было щекотно.

— Я знаю, что ты привез свою жену. Лаврик, не думай обо мне, живи земной жизнью. Хочешь, я навсегда уйду из твоих снов?

Ты схватил ее за руку:

— Не уходи! Я умру без тебя.

— Тогда успокойся, не думай о духовном, о пустоте этой, о наших полетах. Скоро ожеребится моя любимая кобылица, она жеребушкой

была, когда мы на фронт уходили. Жеребенка назовешь именем брата нашего Газиса. И не думай столько, милый Лаврик, у тебя мозг воспален, ты так сильно ранен. И я буду прилетать к тебе реже и реже, а потом ты совсем забудешь меня.

Ты сильно кричал, так сильно, что Эти вошел в комнату и зажег лампу. Только он мог понять смысл твоих слов, Фрося завернулась в одеяло и редела.

— Не плачь, дочка, к утру у него все пройдет.

Молодая кобылица ожеребилась легко, Эти сделал все, что полагается и совершил молебен. Повернулся к тебе, ты хоть и слаб, но помогал отцу:

— Лавруша, давай назовем жеребчика Газисом, в память о сыне моем. Ты не против?

Как ты мог быть против, если и Ляйсан просила об этом?

— Нет, Эти, я не против. Я сам хотел просить тебя так назвать малыша.

Старик улыбнулся:

— Вот видишь, как хорошо жить одной семьей.

Когда улеглись спать, Фрося придвинулась к тебе и в самое ухо спросила:

— Лаврик, ты какое имя кричал седни ночью? Я переполохалась, думала, что ты с ума сошел. Ты меня обнимал и называл Лей... я не разобралась. Кто это?

Ты сел в постели. Настало время все рассказать Фросе. И ты рассказал. Про длинную осеннюю ночь, когда за орехами уезжали с Филей, про Ляйсан, про их любовь странную, про встречу с Ляйсан на фронте и про ее страшную смерть. Рассказал и про сны, в которых Ляйсан сама предложила привезти сюда Фросю. Сказал, что Фрося тебе законная жена, а кто Ляйсан — этого он не знает.

— Ты ревновать станешь? Не вздумай, Ляйсан обидится, а у нее большая сила.

Фрося шмыгнула носом:

— Как не ревновать, Лаврик, ты уж неделю в стороне от меня спишь. Я вот кровать-то располовиню, чтоб поуже да потуже нам было.

— Ничего не делай, это пройдет.

Надо было нарубить жердей для подновления загона, ты оседлал Карего и верхом поехал в ближайший лес. Голова шумела, ты уже давно старался не думать, мурлыкал песенки, вспоминал дни веселой молодости. Ты понял, что боишься встречи с Ляйсан, наверное, она не думала, что ты так скоро сбегаешь за женой, и обиделась. Боялся встречи и ждал, знал, что важное слово скажет ему любимая татарочка.

Рубил тонкие осинки и березки, стаскивал в кучу, чтобы потом можно было на передке от телеги привезти все ко двору.

— Помогай Бог! — услышал за спиной голос и обернулся. Долго вглядывался в лицо, день ясный и солнечный, чего тут сомневаться: дед Максим! Но дед давно умер, и ты был на его могилке. А дед смотрел прямо и улыбался:

— Испугался, внучок? Не пугайся, я с добром. Матрена Савосиха тебе тетка родная — ты про то знаешь. Ей тяжело теперь: года, робить не может, а колхоз зачем будет содержать дармоедку? Скажи ей, что под задним правым углом избушки ее зарыт горшок, а в нем золотые монеты. Пусть не брезгует, это все мною нажито. Пуцай пойдет в район и найдет там зубного врача,

не ошибется, он там один. По одной монете пусть продает, а цену он знает. Второе. Фильку ты сдал по недоразумению или нарочно? Ты угрожать его хотел? Совсем не знаешь ты нашей породы. Наши мужики — кремень. Ты тоже наш, но у тебя на душе шкурки нет, как и на голове защиты. Ты со смертью рядом ходишь. Жалко мне тебя, учить бы тебя надо было, большой толк мог получиться, потому что душа — это для всяких наук и творений крайне надо, да пришли эти горлопаны, все понарушили. Вишь, Лаврик, как сложно мир устроен: они тебе всю жизнь перековеркали, а ты за них свою кровь отдал. Еще. Жену ты сюда перевез, а с татарочкой как? Так и будешь бегать с горячей бабы на любовные разговоры с райской девицей? Ты хоть спал с ней? Нет? И в небесах за сиськи не трогал? Плохи твои дела, не болтайся ты, как дерьмо в проруби, выкинь из головы эти небесные побегушки. Съезди в город, там церковь служит, исповедуйся и причастись, а то с ума спрыгнешь. Да, и татарина этого, который вас со стариком привез, Бейбул прозывается, остерегайся, недобрый человек.

— Напраслина, дед Максим, Бейбул старика к себе брал, когда тот совсем один остался.

Дед улыбнулся в бороду:

— Чудной ты, Лаврик, да этого старика с его хозяйством и пенсией за детей погибших любой бы с поцелуями взял, только Бейбул не отдал. А вернуться домой ему дети посоветовали, он ведь тоже с ними говорит, хоть и не летает... Все, прощай, внук, больше не увидимся. И съезди в деревню, на мою могилку, под крестом земля провалилась, на ноги давит.

Ты хотел еще что-то сказать, но никого уже не было, и даже трава не примята, там, где дед стоял. Ты перекрестился и начал рубить ближнюю осинку.

Вечером, когда Эти встал на молитву, Фрося позвала Лаврика во двор. Вечер тихий и теплый, кони хорошо наелись в лесу и отдыхают, корова жует свою жвачку, маленький жеребенок Газис тычется в мамкино вымя, из которого Фрося только что сдоила молоко на кумыс.

— Лаврик, вот че хочу тебе сказать. У тебя в голове все перемешалось, где Ляйсан, где Фроська — не сразу скажешь. Ты спроси старика, пусть он разрешит мне Ляйсан звать. Тогда и у тебя все на место встанет.

Ты долго думал, потом сказал:

— Дождусь, когда она сама придет, у нее спрошу. Знаешь, они там как ангелы, их обижать нельзя.

Фрося испугалась:

— А если она не согласится?

Ты улыбнулся:

— Ты Ляйсан не знаешь, она добрая и любит меня, она согласится.

Он лег в свой угол постели и думал о предложении Фроси. Чужая она ему стала, как сюда переехали, хоть обратно вези, но даже говорить об этом с отцом Естаем стыдно. Вспомнил, что не запер на засов пригон молодняка, но не пошел, в сон стало клонить. И Ляйсан по головке гладит, усыпляет:

— Назови свою Фросю моим именем, и тогда все у нас будет хорошо. И Фрося рядом с тобой, и я с именем моим тоже. Она у тебя умная и добрая, а то, что изменила тебе, — забудь, все женщины изменяют, только про то никто не знает. Мусульманкам это запрещено, а про других я все вижу. Спи, любимый мой Лаврик.

Ты проснулся рано утром, чуть только светало. Фрося спала, зарывшись в одеяло на другом краю кровати. Ты тихонько подполз к ней, стянул одеяло, в полумраке матово светлеющее зовущее крепкое женское тело.

Ты поцеловал ее в грудь, вторую, она очнулась, охватила тебя руками, заплакала и спросила сквозь слезы:

— Ты не увезешь меня в деревню обратно, Лаврик?

— Ляйсан, ты с сегодняшнего дня Ляйсан, любимая моя татарочка.

Это утро им показалось коротким.

Когда сели пить чай, ты встал перед Естаем на колени:

— Дорогой Эти, я виделся сегодня с Ляйсан, и она разрешила Фросе носить ее имя. Ты не будешь против этого?

Естай улыбнулся:

— Я знал, дети мои, что этим все кончится.

Большой двор у Естая, много скота держал он в старые времена, да и при новой власти после обильного дастархана районные начальники улыбались:

— Скотину держи, сколько сможешь, никто не обидит налогом, проследим. На махан будем приезжать, имей в виду.

Сколько русский начальник может мяса съесть? Так, больше разговоров. Привечал. А в соседнем ауле прошлым летом на выпаса приехали начальники, ходили, считали, а потом говорят:

— Вот что, дорогой, ты скота держишь в пять раз против нормы. Завтра к обеду собери весь скот у стоянки, считать будем и налог начислять.

Тот спрашивает:

— А вы от какой власти представители?

Они отвечают:

— От райфо¹. Слышал про такое?

— Не знаю, татарин в лесу живет, никакой райфы.

На другой день приезжают инспектора: ни скота, ни юрты — ничего нет, а на столбе фанерный обломок приколочен и написано крупными буквами: «До свидания райфа». Стали искать, но татарина в своих вотчинах искать бесполезно, на том и остановились. Долго потом по району об этом рассказывали со смехом.

А теперь совсем скучно стало в большом крытом соломой пригоне, три лошади, две годовалые жеребушки, как девчонки, радуются, когда ты приходишь, мордой тычутся в лицо, в ладонях корочку хлеба ищут. Кобылка Ляйсан скоро должна ожеребиться, приводили ей красивого жениха из деревни, за сто рублей молчаливый татарин разрешил жеребцу подмять кобылку, тот в азарте в двух местах кожу сорвал ей со спины своими копытами. Ты тогда каждый день смазывал раны какой-то вонючей мазью. Две коровы, обе доятся, к новой хозяйке привыкли, маленькие телятки пьют молоко, старый Естай велел до трех месяцев все молоко им отдавать. Сосать — нет, привыкнут, потом беда отучать. Два бычка крутолобых, Естай сказал, что одного благословит государству, ему теперь тяжело, война много отняла людей, и скота мало осталось, а город кушать хочет, и армия тоже, ее надо сильно кормить. Барашки отдельно стоят, молодняка нынче много, большой табунчик будет к лету.

Ты убирал навоз, складывал его кучкой, чтобы подкопить и потом заехать на санях, сгрузить и вывезти на бугорок. Фрося-Ляйсан облюбовала его под огород.

— Лавруша, как они жили без картошки, без солонины, ни огурчика, ни помидорки? Ты мне весной плуг найди в деревне и этот пригород-

¹ Райфо — финансовый отдел исполкома районного совета.

чек вспаши, а я раздобуду семян, только домой придется ехать. Заодно и мать повидашь.

Ты огорчился:

— Про мать мне не упоминай, проклятье она не снимет, а без того и близко не подходи. К тетке Матрене поедем, она выручит.

Голова от дум этих зашумела привычно, кони и коровы стали как в тумане. Ты присел на толстую жердину яслей, притулился к столбу.

— Устал, брательник?

Ты открыл глаза и удивился: Филя стоит в той же куфайке и в тех же пимах, в чем в милиции лежал.

— Тяжело со скотом возиться? Пристаешь?

Ты встал, поклонился:

— Здравствуй, брат Филипп. Прощения прошу у тебя, что неволью навел легионеров. Простишь ты меня?

Филя засмеялся, потрепал по шее стоявшую рядом жеребушку:

— В чем твоя вина? В том, что родился другим человеком, чем мы, грешные, что соврать не умел, да и теперь, поди, не научился? Вот так и вышло. Я ведь, Лаврик, знал, что после тебя придут ребята, знал, но убить тебя не мог. Хотел, только Господь руку отвел, так ножик в матрас и воткнулся.

Ты съежился, не видел и не слышал, что той ночью Филя к тебе с ножом подступался.

— Как тебе там живется, Филя, шибко обижают тебя за грехи твои?

Филя опять улыбнулся:

— Кому обижать-то? Чертей там нет, зря говорят, там какие-то невидимые силы всем распоряжаются. Нас собрали таких, как я, преступников, дают читать книги и учить молитвы.

— А потом что?

Филя пожал плечами:

— Говорят, переведут в другие места. Плохо, Лаврик, что работы не дают, а без дела всякие думы в голову лезут. Я за это время все свои убийства вспомнил, аж самому страшно стало, каким зверем был. Кассиршу одну просто за горло взял и приподнял, позвоню так и хрустнул. И кассиршу эту видел, и всех других убитых, но не близко, а как за стеклом. Политрук тот подходил, которого в воронке застрелил. Он молоденький, совсем парнишка. Все молчат, даже укора в глазах нет. Сроду не ведал, что совестно может быть, а вот видишь, стыжусь, прячусь. Но это еще не все. Потом нас сводить будут, как в НКВД, на очные ставки. Вот как это вынести?

Ты сильно удивился Филиным переменам:

— Я тебе еще тогда советовал думать, через душу пропускать помыслы. Думать, Филя, самое трудное дело, я теперь это по себе знаю. А к покаянью готовься, праведники будут смотреть, есть ли в тебе раскаянье, тогда пустят на суд к Господу.

Филя горько усмехнулся:

— Знал я, Лаврик, что суда не избежать, только не думал, что так высоко потянут меня за дела мои. Ладно, управляйся. Я бы пособил, да отпустили на минутку, а ведь со скотиной мне шибко глянулось возиться. Да, а мать-то простила тебя?

Ты вздохнул:

— Да нет. Поди, и не простит.

Филя кивнул:

— Я скажу ей, чтобы простила. С материнским проклятьем тяжело жить. Ладно, прощай, Лаврик.

Ты еще долго стоял, опершись спиной на столб, понемногу пришел в себя, вытер рукавом куфайки лицо, унял дрожь. Ты уже привык к неожиданным появлениям покойников, и только одна Ляйсан была желанной, ты радовался, увидев ее, и долго потом жил воспоминаниями об этих встречах. Фрося с интересом слушала твои рассказы и не ревновала, хотя, думал ты иногда, должна была ревновать. Приход Фили тебя не то, чтобы испугал, а нехорошо тебе стало, когда его увидел, вроде и не вспоминал последнее время. Хотя порадовался, что Филиа стал о душе думать и суда Господня боится.

В обед на паре добрых коней приехал Савелий Платонович, с ним две женщины. Фрося выскочила встречать, потом громко позвала тебя. Ты сено наматывал к вечеру, воткнул вилы, подошел. Гиричев широко раскинул руки:

— Ну, здравствуй, крестник!

Ты чуть не заплакал от радости:

— Крестный, родной, я уж думал, что совсем забыл про меня.

Гиричев помог женщинам выйти из кошевки, кивнул Фросе:

— Веди в дом.

Старый Естай вышел со своей половины, поклонился гостю, они обнялись:

— Как здоровье, дорогой Естай? — спросил Савелий Платонович.

— Обожди, подскажу Ляйсан, что надо быстро приготовить.

Секретарь райкома смугтился:

— Лаврик, о какой Ляйсан он говорит?

— О моей, крестный. Фрося моя теперь Ляйсан зовется, так мы все порешили.

— Все — это кто?

— Сама Ляйсан, перво-наперво, а потом Эти Естай дал согласие. В мире душевном мы тут живем.

Гиричев переглянулся с женщинами:

— Лаврентий, это доктора, приехали из области для консультации наших больных и раненых, я попросил посмотреть тебя. Там твоя половина? Веди докторов, а я пока хозяйке помогу.

Парное мясо барашка варится быстро, когда вы с докторами вышли из спальни, на достархане ароматами исходило горячее мясо, в пиалах дымилась сурпа. Савелий Платонович предупредил докторов:

— Мясо берут руками, вот нож, можно отрезать. Хлеб есть, только к такому столу его не подают. Хотя лучше принеси, Фрося-Ляйсан, гости не привыкли.

Ели торопливо, потому что зимний день короток, а до райцентра два часа езды. Ты встал раньше других, стал собираться проводить гостей, приготовил шубу и сел у дверей.

Крестный спросил докторов:

— Ваши первые впечатления?

— Физически крепок, сердце работает нормально, легкие, печень — все в порядке, — коротко сказала одна.

— Зато голова — это куча проблем, — продолжила вторая. — То, что он рассказывает о своих видениях и встречах с умершими, убитыми, эти разговоры — страшно. Мозг дает сбои, и сильные. Его надо бы понаблюдать в условиях стационара, но он ни в какую не хочет ехать.

Ты все слышал и соглашался, что все беда в голове и что в больницу не поедешь.

— Я поговорю с ним, — пообещал Савелий Платонович. Он не заметил, что ты сидишь сзади.

— Крестный, я никуда не поеду. Доктора эти отнимут у меня все, чем я живу, чем держится моя душа. Иногда понимаю, что умные так не делают, значит, я полоумный, как ругала меня мать, когда я Филю нечаянно сдал органам. А вот Филя простил, приходил ко мне и простил. И Ляйсан согласилась, чтобы жена моя Фрося назвалась ее именем. Видите, как все просто. А если вы нарушите, тогда куда я без них всех? Нет, крестный, не поеду.

— Ты не ребенок, Лаврик, когда можно было скрутить и отшлепать. У тебя тяжелейшее ранение, доктора могут и хотят помочь — почему отказываться? Фрося, скажи хоть ты ему.

Фрося всхлипнула:

— Это он, Савелий Платонович, сам хозяин, как скажет, так и будет.

Гиричев крепко обнял тебя и шепнул на ухо:

— Пока я на работе в районе, приезжай, ты же молод еще, жить надо, детей надо рожать, воспитывать, надо крепким и здоровым быть. Прошу, Лаврик, как сына.

Естай, не проронивший за столом ни слова, пожал секретарю руку:

— Не жди, секретарь, не придет. Я его вижу, он умрет на пороге дома своей Ляйсан, если силой возьмешь. Оставь его, пусть будет, как решил Аллах.

— Видишь ли, дорогой Естай, я в богов не верю, потому думаю, что надо парня лечить.

— Ладно, скажу главное. От этой болезни не лечат. Когда живой любит мертвую и мертвая любит живого — кто сумеет встать между ними? Не ломай ему жизнь, секретарь, пусть будет, как есть.

Женщины уже сели в кошевку, крестный еще раз обнял тебя и сел напротив. Кучер шевельнул вожжи, отдохнувшие лошади пошли крупной рысью.

Ты только встал с постели, умылся и вытирал лицо широким Фросиным рукотертом, концы его были расшиты крестиком, и большие петухи из крестиков украшали их. Естай уже побывал на дворе, обошел хозяйство. Управляться пойдешь ты, такое условие ты ему сразу поставил, потому что не может такого быть, чтобы старик работал, а молодой на кровати ноги вытягивал.

— Дожили до весны, сын мой, как только вышел — сразу понял: из казахских степей дохнул теплый ветер.

Ты вслед вышел во двор. Месяц на ущербе спускался, цепляясь за верхушки сосен; лошади в пригоне поднялись, хрумкают сеном, переминаются и чуть приржахивают; коровы еще лежат, лениво дожевывая жвачку, и ждут, когда Фрося-Ляйсан придет с ведерками, повесит «летучую мышь», похлопывая по крутым бокам, ласково поднимет, обмоет, оботрет вымя и примется доить.

До чего же хорошо жить на белом свете! Эти Естай научил Фросю делать мясо по татарским обычаям, научил колбасу заворачивать, коптить большие куски конины с толстым слоем желтого сала, печь лепешки и делать кумыс. Естай хочет внука, ты и сам спрашивал Фросю, почему она не несет, а Фрося сразу закрывала лицо, стыдилась, а может, неловко ей было сказать, что в тебе семени нет после такого ранения. Фросю ты любишь, только другой любовью, Ляйсан высоко, ты давно уже не видел ее. Обидел чем? Да нет, разве мог! Видно, не подошло время.

Зимой со скотом управы много. Надо в стойлах почистить, навоз в кучки собрать, надо воды принести всем из дома, чтобы теплая, надо сено, с вечера приготовленное, разложить по кормушкам. Падера иногда за ночь так закладает ворота в пригон, что мокрым станешь от пота, пока отбросаешь снег, а потом надо его и вдоль стенки повыше накидать, чтобы теплее скотине было. Зимой в свою деревню совсем не ездил, сахар, соль, муку, керосин закупали с осени.

Вечерами Фрося-Ляйсан шила на руках, у нее это ловко получалось. Когда она попросила Эти Естая примерить рубаху, тот отказался:

— Зачем мне новая рубаха? Мне скоро к Аллаху уходить, ты шей Лаврику, вам жить.

В теплом месте у печки устроил ты постель старику, а Фрося сшила широкую занавеску. Ты один раз откинул занавеску, старик сидел на полу, а в коленях — красная подушка с наградами дочерей и сынов. Старик перебирал их сухими пальцами и что-то шептал по-татарски. Он не видел тебя, перед ним были его дети. Он не плакал, он рассказывал им свою жизнь и слушал их ответы. Ты опустил ткань и тихонько ушел к себе.

Вечером управа точно такая же, как и утром, все сделали вместе с Фросей, она унесла молоко, вернулась, помогла плотнее прикрыть ворота. Ты повесил на пробой большой замок. Фрося ухватила тебя за шею и поцеловала в губы. Ты засмеялся:

— Ты что? Ночи тебе не дожидаться?

Фрося загадочно улыбалась:

— Не хочу ждать, вот захотела и поцеловала мужа, и никто мне не указ.

— Глупая ты.

Она продолжала играть:

— Пускай глупая, а если обзывать станешь, вовсе ничего не скажу.

— Ладно, не обижайся, я же любя тебя.

Она опять обняла, прижалась к небритой щеке:

— Лаврик, муж мой венчанный, в тягостях я уж третий месяц.

Тебя что-то обожгло внутри, ты вроде испугался новости, мысли не допускал, но понимал, что Ляйсан надо будет об этом говорить, а как она отнесется?

Фрося потрепала тебя по щекам:

— Лаврик, очнись, тебе тошно?

Ты обнял ее, чтобы еще минуту помолчать.

— Нет, Фрося, это славно, что ты в положении, что ребеночек у нас будет. И Эти Естай обрадуется.

— А Ляйсан? — как в лоб ударила Фрося.

Ты долго молчал, понимал, что так еще больше сомнений вносишь в сердце жены, но молчал, не знал, как сказать, что ты веришь, даже знаешь, что Ляйсан благословит вашего ребенка.

— Не спрашивай меня, Фрося, зачем обманывать? Встречу Ляйсан, все скажу, и она будет радоваться вместе с нами.

Когда сели ужинать, ты поклонился Естаю:

— Дорогой Эти, наш Бог и твой Аллах услышали наши молитвы, Фрося уж третий месяц беременна.

Естай кивнул, посмотрел на Фросю:

— Ты мне дочь, Ляйсан, и я буду ждать твоего ребенка. Если родишь девочку, подарю ей золотые украшения моей покойной жены, если будет джигит, поеду на ярманку и куплю лучшего жеребца. Это мое слово.

Долго пили чай и говорили о завтрашнем дне.

Ты уснул, крепко обняв Фросю. Ты не слышал, как скрипнула дверь и вышел Естай. Ты не слышал его предсмертного выдоха, но какая-то сила подняла тебя на ноги, ты увидел свет фонарей во дворе и услышал чужой разговор. Откинул занавеску — старика нет. Ты не забыл еще привычки войны, когда враг рядом, но тебя не видит. Если Естай вышел на шум, его уже связали, чтоб не мешал. Эти люди не могут не знать, что старик не одинок, что ты у него живешь, значит, и хозяйничают со скотом так открыто, потому что один или двое стоят у дверей и ждут тебя. Ты схватил карабин, велел Фросе спрятаться на печи, подкрался к двери и выстрелил дважды. Дикий крик отхабарил дверь, ты выпрыгнул в сторону и видел только огненный плевок ружья. Выстрелил прямо в него и снова крик раненого человека. Фонари погасли. Услышал крик:

— Лаврик, успокойся. Ты меня слышишь? Это Бейбул. Старика больше нет, если хочешь жить, уйди в дом, я оставлю тебе корову. Если узнаю, что сообщил в милицию, зарежу вместе с бабой. Ты понял?

Тебя трясло, но руки сжимали карабин жестко и уверенно, как на фронте.

— Где Естай, что ты с ним сделал?

— Его зарезал мой человек, мы тебя ждали первым, а ты прообнимался с женой, старик услышал и вышел.

— Я убью тебя, Бейбул.

Бейбул захохотал. Ты выстрелил прямо на хохот, он захлебнулся, а чей-то трусливый голос завопил:

— Бейбула убили, уходим.

Две или три тени метнулись в сторону от пригонов, ты выстрелил, но кто-то все-таки добрался до подводы и стал нахлестывать лошадей. Ты осторожно подошел к дверям, приоткрыл их и попросил Фросю выбросить полушубок и шапку. До рассвета просидел в засаде, поджидая налетчиков. Когда совсем развиднелось, поднял тело Эти и занес в дом. С карабином обошел двор, перевернул одного — татарин, подошел ко второму, тот застонал. Ты ногой перевернул его на спину: русский. Тот открыл глаза, протянул руки. Ты нажал на курок. Убитых утащил в сарай и закидал снегом, Бейбула нельзя было узнать, все лицо разбито. Ты ухмыльнулся: стрелять на звук тебя учил снайпер Вася из северных народов.

Поехал в татарскую деревню, нашел муллу, все ему рассказал. Через час весь двор заполнили татары, тебя и Фросю отправили на свою половину, молились, разговаривали, мулла позвал тебя.

— Надо коня заколоть, такой обычай. У Естая есть молодые жеребчики, одного укажи, наши люди сделают, как по вере положено. Ты не обижайся, я знаю, что Естай любил тебя как сына, потому надо соблюдать обычай.

Ты вывел из стойла жеребчика-двухлетку и ушел, чтобы не видеть, как его заколют. Мясо варили прямо во дворе. Ты уже попросил муллу, чтобы отправил он своего человека в район и сообщил в милицию и в райком, крестный уважал Естая, должен знать его смерть.

Тело Естая закрутили в крашеную кошму, тебе сказали, что иноверцы не могут присутствовать на похоронах, вы с Фросей со стороны поклонились и ушли к себе. После похорон ели мясо и пили сурпу, мулла велел подать на половину молодых поднос с мясом и пиалы с сурпой. Ты плакал, Фрося успокаивала и плакала сама.

Утром приехали три милиционера, старший подал тебе пакет. Это письмо от крестного. «Гибель Естая Тайшенова — это большая трагедия. Ты при-

готовься, возможно, заведут уголовное дело на тебя из-за убийства бандитов, но не переживай, это была самооборона, хотя могут и привязаться. Я очень хотел повидать тебя, потому что, похоже, больше не встретимся. Я попросил начальника милиции, чтобы расследование завершили скорее, он пообещал. Буду торопить, чтобы закончили при мне. Имею сведения, что есть на меня донос в областные органы, если кому-то захочется, арестуют и расстреляют. Чтобы чужие не знали, пакет опечатал сургучной печатью. Прощай. Береги себя и жену. Твой крестный отец Савелий Гиричев».

Ты не все понял сразу, но не за себя испугался, а за дядю, что его могут арестовать. За что? Меня — понятно, три труппа, тут не выкрутишься. Бейбул говорил, что у него кругом друзья, отомстят за его смерть, это уж как пить дать. А Фрося тогда как? Вот еще беда — пришла, откуда не ждали.

Ты свернул письмо и положил в пакет. Долго смотрел на присохшие крошки сургуча по углам и по центру конверта, оказывается, не ты первый читал это письмо.

В начале июня ты стал выезжать на угожья, где вы с Эти Естаем косили травы, ставили небольшие стога и по первому снегу вывозили сено на дровнях. И косить, и стоговать сено приходили по заданию муллы молодые парни из деревни, они же помогали вывозить десятки стожков. Иногда в лес брал с собой Фросю, она все тянулась ягонок побрать, клубники, только ты боялся, чтобы ничего с ребенчком не случилось. Когда она домогалась, запрягал в ходок тихую кобылку, оставлял Фросю на ягодной поляне, а сам шел проверять покосы, как делал дед Максим. На релке между двумя березовыми колками высоко поднялась трава. Тут было всего понемногу, ты не знал названия трав, помнил только, что дед Максим называл это все разнотравьем: «Самое едовое сено, тут и визиль, и клеверок, и чуть полыньки для вкуса, а больше похожих на нынешние овсы да пшеницы, прародители, если прямо сказать». Ты присел и с нажимом повел вокруг себя протянутой рукой, следом посыпались, как кемто брошены, мелкие семена. Пора косить.

Отбил две литовки на случай, если сломаются литовище, Фрося собрала корзинку с хлебом печеным, копченой кониной, зеленым луком и десятком куриных яиц. Стояла у ворот, пока ты скрылся за лесом, и пошла в дом, работы много, а сил не хватает, тянет дитенок соки.

Помолясь на восток, ты рубаху выпустил из штанов, прикрыл маковку вязаной шапочкой и завел литовку за плечо. Прокос получился широкий, кошенина легла ровно, на стерне высоко, так что скоро продует. Решил не садиться, пока сил хватит, махал и махал литовкой, и скоро движение стало самостоятельным, не надо было давать себе команду. Валки ложились один к другому, и на краю ручки, когда надо было поправить жало косы, ты остановился, воткнул в землю литовище, вынул из кармана оселок и услышал:

— Обожди, Лаврик, не начинай, у меня к тебе разговор.

Оглянулся, а по кошенине идет к нему девушка в черном платье до пят, босая, волосы распущены, и вроде трава под ней не шелохнет. Уже ближе, лицо разглядел — красавица, что глаза, что брови, что ротик — все красиво, только отпугивает эта красота.

— Ты кто такая и откуда взялась в наших местах? — спросил ты.

— Ишь ты, как со мной сурово, Лаврентий, а ведь мы с тобой давно знакомы.

Ты смутился, еще раз глянул на девушку и улыбнулся:

— Ей Богу, не помню, где и когда виделись.

Девушка подняла руку:

— Ты про Бога пока не поминай, мы без него обойдемся. А я тебе расскажу. Первый раз я тебя заметила, когда ты с братом купаться на озеро пришел, брат нырнул, и ты за ним. Я так обрадовалась, что такой маленький да хорошенький у меня сегодня будет, а крестный твой перехватил, я тяну тебя в глубину, а он на воздух. Был бы просто дядя, не отдала бы тебя, но крестный, за ним сила. Помнишь?

Ты ошарашено на нее смотрел:

— Помню, мне тогда пять годов было. А ты-то как там оказалась?

Девушка засмеялась, тряхнув богатыми волосами:

— Потом на войне я тебя увидела, узнала, хоть и много лет прошло. По линиям телефонным за тобой ходила, как ты с иноверкой прощался, тоже смотрела. Я чувствовать не умею и плакать тоже, но если бы людям показать — волосы дыбом.

Ты совсем потерялся, понять ничего не можешь, чем больше она рассказывает, тем все непонятнее.

— Потом удачно ты подъехал к своим солдатам перед самым обстрелом, вот было дело, я никогда раньше не видела, столько людей разом с жизнью расстаются. Тебя подбросило с телеги и в грязь уронило, а душа выскочила от страха. Вот тут я и ухватила ее.

— Кого? — крикнул ты, дрожа от страха.

— Душу твою, Лаврик, душу, ты совсем был покойник, но не могла совладать, какая-то татарочка за тебя молилась. Бросила тебя, там урожай был богатый и без моего Лаврика.

— Господи, да кто же ты?

— Опять о Боге! Я же предупредила. Я — смерть твоя, Лаврик.

— Смерть? — удивился ты. — Да какая же ты смерть? Она страшная, злая, с литовкой, как я сейчас, а ты молодая и красивая.

— Но ведь я тебе не понравилась, правда?

— Верно говоришь, ты не девушка, ты виденье, в тебе соблазну нет.

Гостья засмеялась:

— Так я и не соблазняя мужчин, Лаврик. А то, что молода — есть и помоложе, есть и старухи. Нас много. А ты думал, что одна смерть столько дел творит в народе? Нет, только тебе на роду написано быть моим.

— Это ладно, — согласился ты. — А как же вы допустили столько гибели на фронте? Самолучших людей забрали. Откуль вам такое распоряжение?

Опять улыбнулась гостья:

— Ты много хочешь знать, Лаврик. Мы между Богом и дьяволом существуем, и никому не подчиняемся, только своей воле, которая нам продиктована старшими. Вот ты мне предназначен, я тебя могу сразу забрать, могу поиграться. Когда брат хотел тебя заколоть, я руку его перехватила. А за то, что влез мне поперек, отдала его этим легионерам. И когда ночью бандиты к вам во двор ворвались, я не хотела, чтобы ты погиб, и ты остался. Я скажу тебе, почему. Ты у меня такой один, и не умный, и не дурак, прямой и честный и чистый душой, как младенец. Живешь ты чудно, двух женщин любишь, одну живую, другую мертвую. И веришь, что встречаешься с татарочкой, веришь, Лаврик?

— Как не верю, если говорю с ней и обнимаю.

— Ой, дурак! Ладно. Коси свои травы, но знай, что я рядом, и как только позову — сразу собирайся. Да, Лаврик, маму твою наши взяли, и тетку твою тоже; за горшком, о котором дед Максим тебе говорил, сам

съезди, а то будут разбирать избушку и найдут. Это я к тому, чтобы жена твоя и сын нужды не знали.

— Обожди, ты сказала — сын? Как ты узнала?

Девушка улыбнулась:

— Лаврентий, чистая душа, я про своих людей все знаю. Отвернись, мне надо уходить.

Ты отвернулся, минутку постоял, глянул на то место, где стояла твоя смерть — никого, и трава не шевелена. Пошел в тень на опушке колка, прилег, уснул.

Дома лошадку распряг, зеленую траву с телеги теляткам в загон бросил, они молоденькие, растут и среди ночи пожуют в удовольствие. Фрося-Ляйсан подошла, прижалась:

— Истосковалась я вся, пятидневку одна.

Ты пожалел, приобнял:

— Пристала с хозяйством-то?

Фрося шутя оттолкнула:

— Не от работы, а от тоски по тебе сил нет. Вот приехал, и на душе легко стало.

Ты погладил ее округлый живот:

— Как он там, шевелится?

Фрося засмеялась:

— Наверно, вместе с тяткой сено косит, и руки и ноги в ходу.

Ты доволен:

— Работящий парень будет.

Фрося опять засмеялась:

— А если девка? Что, и любить не будешь?

Ты уверенно сказал:

— Парень, сын у нас будет, это я точно знаю. Ладно, покорми меня, да в деревню съездим.

— На ночь-то глядя? — удивилась Фрося?

Ты ушел от ответа:

— У нас дело такое, что надо бы потемну, так спокойней.

Наскоро перекусив, ты запряг в дрожки Карего, который окончательно обленился и бежал неохотно, но раскачался, и к деревне подлетел на рысях. Тихим шагом подъехали к пустой избушке Савосихи, ты завел коня в раскрытую ограду, Фросе велел сидеть в кошевке. Вынул из-под травы лопату и стал копать. Глубоко же зарыл дед Максим свой горшок. А, может, и нет ничего, пригрезилось, вот и возомнил. Но лопата склала обо что-то твердое, ты встал на колени, напарал горшок, с обеих сторон освободил и вынул из земли. Как-то жутковато стало: через покойного про клад узнал. Ты перекрестился, разбил глиняную замазку на горлышке, сунул руку и захватил горсть монет. Отставил в сторону находку, яму засыпал, щепками и травой закидал.

— Лавруша, чегой-то ты нашел? — шепотом встретила Фрося.

— Потом, — шепнул ты и выпятил дрожки вместе с Карим из ограды, прыгнул в кошевку и стеганул лошадь. Выдохнул, когда из деревни выехали, остановился, вынул из горшка в коленях горсточку монет, черкнул спичку. Фрося ахнула. Задул спичку, ссыпал монеты обратно. Не обманул дед Максим, точно золотые монетки.

Дома нашел укромное место, зарыл горшок, Фросе указал, рассказал про зубного врача — на всякий случай.

Утром к дому подкатиле полуторка, из кузова выпрыгнули два милиционера, ты вышел навстречу. Фросе успел сказать, что в деревню ездили свой домик посмотреть, так говорить надо.

— Гражданин Акимушкин?

— Так точно, я и есть.

Милиционер улыбнулся:

— Это я тебе письмо привозил из райкома. А мы с тобой и раньше встречались, когда вы за братцем приезжали. Помнишь? А сегодня твоя очередь. За убийство троих человек, а больше всего за Бейбула, ты арестован и будешь обвиняться.

Ты не испугался и спокойно объяснил:

— Я их убил вперед, а чуть трухни — меня бы застрелили и жену мою. А она в положении. Видал, сколько жизней? Мне знающий человек говорил, что это была оборона самого себя и родных.

Милиционер опять улыбнулся:

— Тот знающий человек арестован и проходит как враг народа и вредитель. Письмо-то я вскрыл и правильно сделал, доложил, кому следует, а то Гиричев мог скрыться от правосудия, он, оказывается, уже знал, что разоблачен. Короче, собирайся.

Фрося заревела в голос, ты обнял ее и успокаивал:

— Не плачь, сын вместе с тобой плачет, перестань. Меня не посадят в тюрьму, разберутся, что нет тут вины, и отпускают. Если задержусь, сходи к мулле, он поможет.

И уже шепотом, чтоб только она слышала:

— А если что — попрошу Ляйсан, чтобы она меня вызвала, и улечу, не видать им меня в оковах.

Милиционер не переставал улыбаться, а второй молчал, безучастно глядел на тебя и Фросю. Ты собрал в платок булку хлеба, шматок конины копченой, рукотерт, обнял Фросю и залез в кузов.

Следователь, молодой человек в красивой форме, записал твой рассказ о нападении бандитов на усадьбу Естая Тайшенова, о твоей жестокой расправе. Потом неожиданно спросил:

— В каких отношениях вы были с бывшим секретарем райкома Гиричевым?

Ты ответил с гордостью:

— В сродственных, он мне дядей доводится, да к тому же крестный отец.

Следователь записал.

— О чем вы говорили, какие поручения он вам давал?

Ты удивился:

— Об чем говорили? Про свою семью, про жизнь. А поручал он мне беречь здоровье, все хотел к путным докторам отправить, да я не соглашался.

Следователь возмутился, стукнул в стол кулаком:

— Ты мне дурака не валяй, здоровье он поручал. Я тебя спрашиваю, может, скот травить или механизмы из строя выводить — вот какие поручения!

Давно с тобой так не разговаривали, да и смешно слушать, что крестный скот травил. Пришлось сказать:

— Гражданин следователь, Савелий Платонович крестьянин, он и сам в молодые годы хозяйствовал, как он может отравить безвинную скотину? Если кто и сказал такое, то либо по глупости, либо по злому умыслу.

Следователь ударил тебя кулаком в лицо, ты едва не упал с табуретки. Вынул платок, вытер кровь, сквозь слезы посоветовал:

— Вы, гражданин следователь, по голове меня не бейте, у меня фронтное ранение, полчерепа снесло, там только кожица тонкая и мозги рядом. А зачем вы мне вопросы про крестного? Я думал, за убитых бандитов допрос будет, но тут у меня оборона самого себя и семейства, закон на моей стороне.

Следователь крикнул:

— Конвой!

В комнату вошел милиционер:

— Уведи этого дурака. А ты думай, что скажешь про Гиричева, чем больше скажешь, тем меньше срок получишь за убийство. Понял?

Ты кивнул:

— Как не понять? Значит, Бейбул правду сказал, что мне отомстят за его смерть друзья-товарищи. Как же так, гражданин следователь, Эти Естай Тайшенов отдал родине двух сынов и трех дочерей, у него медалей и орденов полное блюдо. А приходит бандит Бейбул, убивает отца героев, и он же прав? Так советская власть не диктует.

Следователь покраснел, крикнул конвоиру:

— Уведи его и всыпь, как следует, только по голове не бей, говорит, у него там черепа нет. Ты проверь.

Конвоир толкнул тебя к двери, повел коридором, перед камерой остановился:

— Этот татарин убитый — правда отец Ляйсан Тайшеновой?

Ты кивнул.

— Я воевал в той дивизии, где она погибла, в газете писали. Ты не бойся, бить я не буду, только ты говори что-нибудь про этого Гиричева, может, снисхождение выйдет.

Ты кивнул.

— Я тебя в одиночку закрою, чтоб никто не домогался, отдохнешь.

Ты опять кивнул, спросил:

— А до ветру ночью водят?

— Нет, там ведро стоит, это параша. Но я скажу ночному дежурному, он хоть и сволочь, но мне обязан, — пообещал милиционер.

В камере понял, как сильно болит голова, видно, следователь шшевелил что-то. Ты бросил на пустые нары свою куфайку, лег на спину, положив руки под голову, и свалился в тяжелое забытие. Сквозь боль и яркие всполохи в мозгу ты увидел дом Естая, ставший твоим, увидел Фросю, а потом и сам ощутил себя в пустоте, светлой и теплой, которую всегда приносила Ляйсан. Она появилась издалека, и ты наблюдал ее красивый полет, белый балахон не мог скрыть красоты ее тела. Она приблизилась, обняла тебя, закружила, сказала:

— Лаврик, час пробил, это не в моей власти. Я очень хочу, чтобы ты был со мной, но Фрося и сын твой останутся сиротами, а сделать ничего нельзя. Твоя смерть говорит, что и так многое тебе позволила совершить на земле. Семью твою мы возьмем под свое покровительство, никто их не обидит. Я знаю твой план. Так и сделай. Я встречу тебя, любимый мой. Прощай.

Среди ночи ты проснулся, поел мяса с хлебом, остатки сунул в карман куфайки, оделся и постучал в дверь. Дежурный появился не скоро.

— Чего тебе?

— До ветру надо, живот болит.

Дежурный постоял, подумал:

— Вообще-то параша есть. Ладно, пошли.

Во дворе ты приостановился, шедший следом дежурный подошел вплотную, ты ловко ударил его в шею, наклонился, чуть прижал жилку на шее, так учили разведчики. Милиционер притих. Ты перемахнул через забор за туалетом и побежал.

Утром та же полуторка подъехала к дому Естая, Фрося выбежала во двор. Три милиционера выскочили из кузова.

— Где муж?

Фрося испугалась:

— Так вы же вчера забрали...

— Он убег. Ребята, общите дом и все клетушки.

Фрося присела на чурку посреди двора:

— Куда он сбежал? Зачем? Он же ни в чем не виноват. Не ищите, не приходил он домой.

Старший подошел вплотную:

— Где он может быть? В деревне его тоже не нашли. Куда он мог податься? Говори!

Фрося заулыбалась:

— Я поняла. Он улетел.

Старший оторопел:

— Куда? На чем улетел?

Фрося улыбнулась и спокойно ответила:

— Улетел к Ляйсан, туда. — Она чуть подняла голову к небу. — А на чем? Ни на чем. Они летают просто так, как вот вы ходите.

Старший присмотрелся, кивнул:

— За дураков нас держишь? Так и знай, найдем — ему крышка. Он и милиционера нашего чуть не задушил. Все равно найдем.

Фрося поднялась с чурки, уже спокойная и уверенная:

— Никогда не найдете.

Старший спросил подошедших милиционеров:

— Ляйсан — это кто?

— Дочь хозяина этого дома, которого Бейбул зарезал. Она погибла на фронте, и сестры ее и братья — все погибли.

— А почему она говорит, что Акимушкин к ней улетел? Это как понимать?

Милиционеры пожали плечами.

Старший не унимался:

— Вот она беременна, скоро родит, муж пропал в неизвестном направлении, а она лыбится. Не с ума ли спрыгнула?

Фрося слышала весь разговор, подошла ближе:

— Ты за меня не переживай, начальник, у меня от чистых и святых сил теперь защита будет, а ум мой какой был, такой и остался, как любил своего Лаврика, так и буду любить. И зовусь не просто Фрося, а Фрося-Ляйсан, она сама с небес дала на то согласие.

Старший еще раз огляделся и скомандовал отъезд.

Фрося улыбалась и плакала, Ляйсан уже шепнула ей, что Лаврик ушел от легионеров и скоро душа его будет рядом, а потом они будут приходить к ней и нянчить общего родного ребенка.

Уходящая машина растворилась в воздухе, и табун красивых лошадей во главе с любимой кобылой Ляйсан уже мчался навстречу Фросе...